Подається російською мовою!

Прощание с Матерой

1

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по речке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды – да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба – да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах и растворились ворота во дворы – их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись

жерди и доски – поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали – и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не узенькой лентой, а утюгом, – было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога – понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога – ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: богохул, а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог;

подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой – она была положе и ровней – и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и кроет сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно

затопит с макушкой, и места потом не показать, где там силились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли – концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

– Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. – Это Дарья Настасье. – Я уж в памяти находилась, помню.

– Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

– Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была – оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

– Я помню.

– Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше десяти лет назад, – в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда – откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? – в Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище "Московишна". Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась не сладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить – стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: "Хоть и Сима, да мимо", но Сима не обижалась. Обратно в Нодволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко,

поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола – тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки – не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали – он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.

– Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? – удивлялась Дарья. – Че ты там за мной видишь – смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь, уставился, немтырь, как гвоздь.

– Он не немтырь, – обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

– Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось – ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета...

– Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, – рассказывала старуха Настасья. – Осподи!... А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: "Ты не плачь, Егор, не надо", – а он: "Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!" Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида – и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

– Че нас без пути пужать? – спрашивала Дарья.

– А чтоб непужаных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, "вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается", хотя, знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал учить – ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди

старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

– Как там сегодня Егор – живой, нет?

– Ой! – радостно спохватывалась Настасья. – Егор-то, Егор-то… едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

– А теперь-то как – остановилась?

– Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

– Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, – вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

– Я всю жисть колхозу ондал.

– Колхоз – другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело – лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, стращая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно ехать, то ехать. И отрезал Настасье:

– Чтоб к троице была в готовности.

А до троицы оставалось всего-то две недели.

– Зато никакой тебе работушки, – не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасье Дарья. – Я у дочери в городе-то гостевала – дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь – вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом – нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо куды тебе с добром! – баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих – оне надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, козле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и дрожишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня… какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот… телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговорела, и опеть на боковую.

– Ой, не трави ты мое сердце! – обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. – Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!

– Всех нас, девка, пересаживают, не однуе тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай, господь, прибирай. Настасья, не соглашаясь, качала головой:

– Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говореть?!

– Сколько нас, всех-то? – рассудительно отвечала Дарья. – Никого уж не остается. Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену…

– Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска… Околоток хороший наберется. Не мое куковань е.

– От и вся Матёра! Господи!

– А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, – заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку. – Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатим куда глаза глядят, в море-окиян…

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога – в Дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие: Колька, в котором она души не маяла. С мальчишкой в Дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симина дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька пошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без стесненья напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении,

которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности, отыскать ее было нелегко.

– Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам, – говорила Сима. – Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.

– Ты пошто его не учишь говореть-то как следует? – попрекала Дарья. – Он вырастет, он тебя не похвалит.

– Я учу. Он может говорить. Коляня у нас молчаливый.

– Пришибло мальчонку. Он все понимает.

– Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар – большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя – кипятку, стало быть, еще вдосталь, – и потревоженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе – отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая вытянутыми губами.

– Четвертый, однако, стакан, – прикинула Настасья.

– Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в кастрюльке греть.

– Пошто в кастрюльке? Чайник налью.

– Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только.

И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья. И зря она пугает Настасью – неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все остальное – как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

– Доведись до меня, взяла бы и никуды не тронулась. Пушай топят, ежли так надо.

– И потопят, – отозвалась Сима.

– Пушай. Однова смерть – че ишо бояться?!

– Ой, да ить неохота утопленной быть, – испуганно остерегла Настасья. – Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас укладали, и нас туды.

– Рать-то твоя поплывет.

– Поплывет. Это уж так, – сухо и осторожно согласилась Настасья.

И чтобы отвести этот разговор, ею то заведенный, Дарья вспомнила:

– Че-то Богодул седни не идет.

– Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.

– С им грешно, и без его тоскливо.

– Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.

– Окстись, Настасья.

– Прости, осподи! – Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.

Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашлась, залилась в суматошном кудахтанье, не унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась в сенях, наскакивал на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил:

– Кур-рва!

– Вот он, святая душа на костылях, – без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. – Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.

– Кур-рва! – снова выкрикнул, как каркнул, старик. – Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

– Кого грабют? Чо ты мелешь?! – Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку – надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары – хоть глаза закрывай.

– Хресты рубят, тумбочки пилят! – кричал Богодул и бил о пол палкой.

– Где – на кладбище, че ли? Говори толком.

– Там.

– Кто? Не тяни ты душу, – Дарья поднялась, выбралась из-за стола. – Кто рубит?

– Чужие. Черти.

– Ой, да кто ж это такие? – ахнула Настасья. – Черти, говорит.

Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

– Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, ужи доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

– Ты чего, ты чего, бабка?!

– А ну-ка марш отседова, нечистая сила! – задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

– Но-но, бабка. Ты это… ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты… вы… – Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. – Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

– Марш – кому говорят! – приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. – Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… – Дарья взвыла. – А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У

какого человека духу хватит?!. – Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла. – О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, – кинулась она опять на мужика. – Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

– Да отцепись ты, бабка! – взревел мужик. – Ответишь. Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники.

– Кто приказал? Кто приказал? – бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: – Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик – этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке – вышел с топором в руке, и, остановившись, прищурился.

– Ты посмотри, – обрадовался ему медведь. – Наскочили, понимаешь. Палками машут.

– В чем дело, граждане затопляемые? – важно спросил второй мужик. – Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

– Какой ишо сам-аспид-стансыи? – сейчас же подернулась она. – Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

– Ну оказия! – мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

– И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

– Че натворили?! Че натворили?! – подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, а Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

– Че с имя разговаривать – порешить их за это тут же. Место самое подходявое.

– Чтоб знали, нехристи.

– Зачем место поганить? В Ангару их.

– И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

– Как морковку дергали… Это ж подумать надо!

– Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

– Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

– Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

– Врет, – обрывали его. – Тайком приплыли.

– Дайте сказать, – добивался мужик. – Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.

– Не может такого быть!

– Отведите нас в деревню – там разберемся. Они там.

– И правда, в деревню.

– Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

– Никуды от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал – Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия – ребятишки впереди и

ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, – толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один – Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй – незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

– Что такое? Что у вас происходит? – еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкалась к цыганистому.

– Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, – взялся объяснять ему молодой.

– Как собаки, – подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула. – Я тебе… пугало огородное…

Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на "собак" отозвались возмущенным гулом.

– Ти-ше! – с растяжкой скомандовал он. – Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?… Они, – Воронцов кивнул на мужиков, – проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук – лицо официальное.

– А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел наше кладбище с землей ровнять? Там люди

лежат – не звери. Как посмели над могилками гадиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

– Такие фокусы даром не проходят.

– Царица небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.

– Слушать будем или что будем?… – повторил Воронцов, взяв тон цокруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирятся. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

– Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, – знал Жук силу таких слов, как "решение, постановление, установка", хоть и произнесенных ласково, – есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ… Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию…

Дед Егор не вытерпел::

– Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

– Я и отвечаю, – дернулся Жук и от обиды заговорил быстрой: – Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди… Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом…

– а о нас вы подумали? – закричала Вера Носарева. – Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут… это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов… – Вера задохнулась. – Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать…

– Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положения и не говорите. – Голос у Жука заметно потвердел. – Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец.

Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.

– Ты арапа не заправляй. – Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. – Откулева пришли, туды и ступайте, – отправлял он. – К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявился, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам…

– Да они что?! – Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. – Они, кажется, не понимают… Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

Кур-рва! – высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

– Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

– А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, – оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. – Ты сам тута-ка без году неделя. Сам турист… ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить – у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не крыль. – Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. – И меня не пори. Дай мне дожить без позору.

– Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

– Иди-ка ты!… – понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.

– Это другое дело, – согласился Воронцов. – Так и запомним.

– Запоминай. Не шибко испугался.

– Защитничек нашелся.

– Много вас таких!…

– Убирайтесь, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери – он отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, – казалось, вот-вот он не выдержит и по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: "Нету таких правов, нету таких правов". Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же

показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев перебросить несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся – случившийся рядом дед Егор посоветовал верзиле:

– Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил…

– Уголовный, что ли? – заинтересовался верзила.

– Но-но.

– Я, может, сам уголовный.

– Ну, тогды спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с Матёры.

…А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.

4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре – теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило

на мыло. И верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали Богодула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять, курицы у всех – яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.

Или привечали Богодула в Матёре больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал Матёру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго – видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане – там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою "фатеру", в колчаковский барак.

Много лет знали Богодула как глубокого старика и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, Богодул, недолго думая,

подставил ей голую ступню – змея ткнула и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь, и блаженно приговаривал:

– Кур-рва!

Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же "курвой" и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами – правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку.

Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал, по только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать.

– Здорово, Дарьюшка! – гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.

– Драствуй-ка, – со сдержанной радостью отвечала она. – Пришел?

– Как бог, – и мат.

Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась ставить самовар.

– Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! – кричала она через прясло. – Гаркни там Татьяну, пущай тоже идет.

А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего – черт его поймет, что за человек, этот старуший приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христарадным видом. Ворчали старики:

– От каторжник! (жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь за убийство), – ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, каких поискать по белому свету.

В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались, – или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем бы ни заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним – подступающим затоплением Матёры и скорым переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузлые ноги или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:

– Не имеют пр-рава.

– Да как не имеют, ежли имеют, – с досадой и надеждой набрасывались на него старухи. – Нас, че ли, спрашивать будут?

– Не имеют. Потоп… кур-рва… на людей… не имеют. Я закон знаю.

И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью.

– Ты-то, христовенький, куда денешься? – с жалостью спрашивали старухи.

– С места ни ногой! – выкрикивал Богодул. – Японский бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!

– Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.

– Живой… кур-рва! – упирался он.

На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра – она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен сцепленные вместе, сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери, – новую, магазинскую мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье – покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом, поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.

Утро было позднее и тихое; солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда, в одно место для слуха, а

оттекали в стороны. В нетопленной избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно – неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и невынесенного; с вечера не убрано было со стола, и все так же нетронуто стоял налитый вчера для Богодула стакан с чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил – Дарья шевельнулась и спросила:

– Новый, ли че ли, поставить?

Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дола, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила – безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь продолжала дальше:

– Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко – вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ниче, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.

Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разговор:

– Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого – господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! – Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. – Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень – однуе меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.

Тятька говорел… у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо – живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зло будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь – нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто но обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя… я тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нонче свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешнее время были люди, дак ить никто назад себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу – нет, бегут… Куды там назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто гонится.

– Японский бог! – согласился Богодул.

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

– Без чаю-то худо, – от удовольствия, что пьет его, признавалась она. – Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно… мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее – окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их… сердце оборвется и захолонет – нету. Я от себя качну – навроде раз, другой толкнется, подержится и опеть… как на память найдет… опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне… далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?

У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо холила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: "Ой, смерть, смерть давит!" А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нету, руками без толку машем да чекаем: "Че, мамка, где, че?" Она прямо на глазах у нас посипела, пятнами пошла, захрипела… Приподняли, посадили ее, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она навроде душила… так и влипло. Тятька опосле говорил: "Это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась". Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и он под его… нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под Рожество, а его близко к этой поре, за Троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась

клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.

На острову у нас могила есть… Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидал Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша… пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: "Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву христовую". Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был… целые тыщи – то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говореть…

Тятько как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: "Ты, Дарья, много на себя не бери – замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть". Раньче совесть сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья грешит: "Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек". А он правда что простофиля: "Люди просют"… Ну и запустил свое хозяйство… "Люди просют" – хошь по миру иди. На эту пору объявилась

коммуния – он туды свою голову… – Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: – Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху как птичка звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо грех? – Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в путь и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет – три протянула Богодулу и две оставила себе. – Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка: в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.

– Вино – ык! – подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.

– Пущай его дьявол пьет, – согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. – Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей – совестливый, кто без ее – бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу – что то, что другое. Поминают ее без пути на кашном слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же – вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако что, жалезная, ничем ее не укусить. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежли этакое творится!

Я ночесь опосля вечорошного не сплю и все думаю, думаю… всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх

нашел: вот-вот, грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу – до того напружилась от ожиданья… Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою – то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет – не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие – страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне… Закружили меня звездочки… на-вроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назад поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа освятилась. "С чего, – думаю, – че было-то?" И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. "Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится", – навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.

У нас мужики извеку, почитай, все свои были, материнские. Чужих не сильно примали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт – свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит – голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие – не здря говорят: у кого зубы редкие– вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет – откуль че берется! До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой, работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятьку свово: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили – ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не

знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?

Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться кажный рад. У нас из веку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые – на залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матеры. Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: ой-ё-ёк. От с этого самого Ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться – кругом Ангара. На Подмогу передти и то надо вплавь, а у нас там, на Подмоге покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей подсмеивались, нам-то Ангара – своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: "Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет". Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода – не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был… он когды… щас… – Дарья растерянно запнулась; уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: – Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак…

Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках – везде, куда попадал этот свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник – ненадолго

задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжаньем моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера… корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны. Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

– Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись – боле некуды. Тапери ты иди, ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть… Наши разговоры как мякина – ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время…

– Дарья, куды? – строго вопросил Богодул, задирая голову.

Она на минутку замешкалась и отказала:

– Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.

Куда "туды"? – она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню – ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом – нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и,

отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий...

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие берега, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.

И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь.

Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке – не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она – набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с томными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, – там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (лиственъ – на "он" знали ее старики), с прямо

оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного ли вида, или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне – остальное оборвал и вытоптал скот.

Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, – поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие – высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.

Видела Дарья на память и дальше – снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами – сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но

догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба – досаждать другим. "Так ли? Так ли?" – со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

…А там – тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот – колхозное стадо там и летовало каждый год, но, как поднимется, задурит река, – держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.

И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо и кругом безгласно – молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный "царский лиственъ", слепо растопырив огромные ветви со своими

ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселенья, – кладбище, пристанище старших…

Скоро, скоро всему конец.

Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступаясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что "так и надо"? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, – нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.

Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. "На море-океане, на острове Буяне…" – некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.

5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и вкинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

– Подчистили картофку-то?

– Подчистили.

– Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли – надолго ли вам, едокам!

– Побольше-то издрябла бы, – отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

– Издрябла? – удивилась Дарья. – Ты сказывал, там подполье есть.

– Есть, – кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. – Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай.

– Но-о-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?

– А там досматривай не досматривай… у всех вода. Никакой Ангары не надо.

– Это чо деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрели, лопатой в землю не ткнули, че в ей?

– По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.

– Ишо чудней.

И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает, откуда они взялись? – был бы хлеб, был бы дом и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза!

Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтоб не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до Пасхи, ему сровнялось пятьдесят – был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном, первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет – тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьиных детей все трое успели вырасти и войти в жизнь – один годился для войны, другой для работы, третья – старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной – значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле – кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше.

И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с нею не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба – что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение от родных к старикам, – самая первая для них важность.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что заметил – пол не подметен, спросил:

– Как ты тут управляешься? Вера не приходит?

– Вера когды зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.

– Захворала, что ли?

– Дак оне че творят-то, Павел?! Че творят-то?! Уму непостижно! – стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

– Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы… а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих… два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конешно, грех покойников трогать… Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А ежли воду пустют…

– Сейчас не до того, мать, – ответил Павел. – И так замотался – вздохнуть некогда. Посвободней будет, перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.

И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом:

– Косить-то нонче будете, нет?

– Не знаю, мать. Ничего пока не знаю. Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и не ближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар – так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера, шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы – привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепеточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтоб на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.

Это жилье. А рядом – тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине, – и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот – не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки – курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для

коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:

– Позволят… Дело не в стайке…

Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом гудела от машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное "можно" больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму "можно"? Можно-то можно, но сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться: как выкроить время, чтобы косить, – это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота и где ее понимали; как, накосивши, переплавить сено через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору. А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, привезешь – куда его ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом.

Нет, этот последний, переломный год казался страшным. И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда,

обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это "что будет" оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть – крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче, а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя, другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх – потому-то молодые легче расставались с Матёрой. Клавка Стригунова так и говорила:

– Давно надо было утопить. Живым не пахнет… не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить – середь воды… как лягушки.

И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.

– Подожгу, – грозилась она, приезжая из совхоза. – Мое дело маленькое. Не хочете уходить, хочете гореть – горите. А я из-за вас страдать не собираюсь.

Тем же – как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег – озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходила по Матёре и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку: "Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак. наук". Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут

платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жилая изба – ну разве можно сравнивать? Пока это временная пластинка, там, в музее, будет другая: "Изба крестьянина из Матёры Петрухи Зотова…" – или нет: "…крестьянина из Матёры Никиты Алексеевича Зотова". Все станут читать и завидовать Петрухе – Никите Алексеичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на надписи он, как полагается, должен быть при полном величанье.

Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухииу избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы "Ак. паук" забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею – черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке – получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра – тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим – убрать избу. Не будь этой "Ак. наук", он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но "собственность Ак. наук" покуда его тоже удерживала. Печатными буквами пробито, что не его, не Петрухина, собственность – не напороться бы на неприятность. Вот

как: изба Петрухина, а собственность не Петрухина – поди разберись, кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.

– Они у меня дождутся, – угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх Ангары. – Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивай, чья собственность. Дождутся.

Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверно, кой-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали этого, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто – как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там – полная тьма что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья принималась расспрашивать ого, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое не способно вместиться в ее старые понятии.

– Баня, говоришь, на всех одна? – ахала она, пытаясь представить, что это за баня. – Ишо не легче! На столь народу одна?… Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?

– Где ее там ставить?…

– Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в этую оказину идти.

А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год – нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так, на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля – курицы ископают, и они же приберут.

Помянешь, ох, помянешь Матёру…

6

А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек – Хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином – чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал.

Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый сумеречный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях – только воспоминания. Мечтать никому не дано.

Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте – темная, но здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчание воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне – непрестанное шевеление всего, что живет на улице, – куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для Хозяина

громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы.

Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться на Подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он.

Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матёра: темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы подготовлялось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и сел – как волна, втянутая в песок. Но длинней и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо мыкнула, как мяукнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода – или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба: по траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и

только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на поскотине, последний прошлогодний лист.

Хозяин направился в деревню.

Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В Матёре были постройки, которые простояли двести и больше лет и не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорей перебраться куда поприличней. Богодул тем более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.

Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому, Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето.

Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истанием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.

Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. "Ток-ток-ток, – стонала изба, – ток… ток… ток…" Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл – смысл службы. И всякая служба имеет конец.

Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его – Катерина. Катерина, Катерина… Кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.

Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег, часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.

Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но, когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них и нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было

тепла и солнца, потому что огонь – это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей, – верно, солнце завтра не выйдет.

Спала Матера-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, – приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видениям случайные отгадки.

Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальние зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о последних днях, старухи.

Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей

водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а набравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго.

7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края, а все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться, когда и куда проскочили последние две недели. И то уж Настасья после Троицы потянула три дня – кончились и они…

Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг, он казался удачливей, но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней добираться.

Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь – электричество в Матёре отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринцы опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь!

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она – дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а и межоконье – большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы – кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: "Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии". После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. "А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю, без тебя я как без рук. И не просись, не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя". "Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай,

тут место есть. Полезай, полезай". "Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся – че ж делать! Я приеду – мы с тобой ишо повидимся".

В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку

Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с Троицы она не выродила ни слезинки, будто и верно поняла наконец – все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами, все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, уставится на Егора – он обернется, а она:

– Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались…

– Тьфу ты, окаянная! – бесился он. – Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тутака нужны?! Кому?

– А как мы там будем?… – И в слезы. Через час, другой то же самое сначала.

Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем – вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей – все дома да дома. Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось – она сказала:

– А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь… куды денешься?

– Давно пора скумекать, – обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.

– Ребят потеряли… где их теперь взять? – продолжала она с раздумчивой покорностью. – А мы вдвоем… может, ниче… Там, поди, тоже люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет – вдвоем будем. Че ж теперь?… Ты не плачь, Егор…

С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубило. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла:

– Ты не плачь, Егор. Че ж теперь… Может, ниче…

Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал:

– Ты никак, старая, совсем рехнулась?

– Нет, Егор, надо напоследок протопить, – торопливо возразила она. – Пушай тепло останется. Покамест шельшевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять – ты че, Егор?!

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.

День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу разгладилось. Под звонким, ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на материнской земле – в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай – хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу – так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.

Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда. Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили – не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный – тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать? – в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола, из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях – и все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна… А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали только один), точило, железная печка, тележка,

санки… А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи спасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продать, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила и багажную кучу – дед Егор кричал:

– Куды? Куды? Мать-перемать.

– Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишо. В ём воду можно держать.

– Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать… На што тебе ее держать?

Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь, какой был, припас к нему, хотя тоже сомнительно, чтобы ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: "Куды?", но Настасья решительно отказала:

– Нет, Егор… кудельку когды потянуть, как без прялки?

– Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. Где ты ее возьмешь?

– Нет, Егор… – уперлась и отстояла прялку.

Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая, под груз, лодка. На ней и предстояло

старикам сплавиться в Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до пристани своей моторкой, но дед отказался:

– Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз поглядеть.

Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь.

– Настасья! – позвала она, не зная, дома та или нет.

– Ниче, ниче, Дарья, – отозвалась Настасья. – Ты заходи. Мы с Егором поедем. Люди живут…

– Собралися? – спросила Дарья, входя.

– Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: "Ты не плачь, Егор, не плачь…" – Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, издрогнув, умолкла – пришла, значит, в полную память. – Ниче, Дарья, – виноватым шепотом сказала она. – Ты видишь… это уж так… – и показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. И жалобно попросила: – Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо…

– И ты меня… – дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.

– Помнишь, у нас ребяты были?

– Как не помню?!.

– А где их тепери взять? Одне. Я говорю Егору: "Поедем, Егор, нечего ждать, поедем", а он…

Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно – виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже никому не нужный свет.

Настасья вспомнила:

– Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу Нюню. Возьми, Дарья.

– Какую ишо Нюню?

– Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?

– Ну.

– Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня.

– Дак у меня своих дне. Анфиза тоже подкинула – уезжала. Куды я с имя?

– Нет, Дарья, Нюню надо взять, – заволновалась Настасья. – Нюня – лаская кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как

взаправду не пустют – пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази капельку когды бросишь…

– Господи… с Нюней со своей… Попадется на глаза – возьму, не попадется – как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

– Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее, и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее… Ее вот только без меня поддержать, чтоб с голоду не околела.

– Ты-то правду приедешь?

– Дак а мы без картофки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не помереть – как без картофки? – Казалось, Настасья говорила это кому-то другому – Дарье она сказала, потеряв голос до стона: – Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?

Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили – не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

– Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться.

– Куды один… – махнул дед рукой. – Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова. – Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.

– Ниче, Егор, ниче, – не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и попутно озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.

Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевезти остальное и сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, – его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили – двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз – разбогатели – куда с добром! Но телка паслась на Подмоге – хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук – все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.

Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя – ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка.

Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

– Отчальную, что ли? – неуверенно спросил Павел.

Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: – Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

– Заживе-е-ом! – Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.

Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

– Недолго, суседки. Надоть трогаться.

Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винились, в чем оправдывались, не знали – тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась; если уж понесло, потащило куда-то – что камешки на берегу считать: они на берегу.

– Самовар-то с собой берешь? – спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар.

– А как? – закивала Настасья. – Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.

– Пошто нельзя? – О чем-то надо было говорить – говорили.

– Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.

– Нам тепери ни одна примета не подойдет, – отказала Дарья. – Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы там без самовара останемся?

– Там-то он нашто тебе?

– Чай пить, – нашто ишо?

– А мы с Егором поедем, – сказала Настасья, перебивая этот пустой, по ее понятию, разговор. – Может, ниче… Счас и поедем, все уж на берег свезли.

И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться.

– Вот, поехали, – обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила из-за стола. – Я говорела… Идем, идем, Егор! – крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись. – Погоди меня, Егор, не уходи.

Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действа, но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены – где он всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась – Егор выходил уже из ворот – и закричала что было мочи:

Его-ор!

Он запнулся.

– Егор, ключ куды?

– В Ангару, – сплюнул дед Егор.

И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.

– Давай сюды, – прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. – Пущай у меня будет. Я тут буду заходить, доглядывать.

– Ворота закрывай, – не забыла Настасья; она словно бы улыбалась или усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. – А то скот наберется, напакостит. Это уж так.

– Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этим не думай.

– А мы с Егором поедем…

…Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в искрении стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.

Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали, уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку – по-другому прощаться она не умела – и, тряся головой, повторяла:

– Ниче, ниче… может, ниче…

Дед Егор поторопил ее.

Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

– А Егор пла-ачет, плачет… – начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды – направо, налево и прямо – поясно поклонился Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.

– Настасья! Настасья! – кричали старухи.

– Ниче, ниче, – стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла.

Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир; Павел завел мотор – лодку со стариками дернуло и потащило – все быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

Ненадолго еще раз открылась на повороте Матёра-деревня и тут же скрылась.

8

Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая на Матёре. Потом их будет много, в сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по сторонам озарится Ангара, провожаемая огромными, будто

в честь ее нарочно запаленными, огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на Матёре задолго вперед остальных.

В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала до конца тут же и догадавшийся, несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до сведения матёринцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она не по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине, перевозиться: будто не сегодня-завтра нагрянет за избой музей. Перевозить было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так и переезжать. Корову продали еще два года назад, последнюю живность, подростка поросенка, закололи в апреле, когда стол опустел подчистую; старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к Дарье. Как раз в день перед пожаром и перенесла: Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, и Катерина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матёре дни. Оно и верно, веселей, так и так днями старухи сбивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею считался сын, человек не последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затона, и даже с выбором: захочет – поедет в одну сторону, захочет – в другую; а кроме того, Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером. В том особенном положении, в каком оказалась Матёра, Дарья ничем не могла помочь старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им

кто смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься – с последней радостью они бы согласились.

Под эту ночь Матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в Матёре, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда ушло солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой – не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано; Катерина впервые уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход и этот малый, перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговором; под вечер приходил Богодул, но с ним тоже не разбеседуешься, потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать, и Дарья спровадила старика. Себе она постелила на русской печке, там она больше всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать, оставалась деревянная кровать.

Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она или, молясь ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили – сначала в окно и тут же в дверь, и Богодул за дверью (все недобрые вести приносил Богодул) сипло и раскатисто закричал:

– Катер-рина! – Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова. – Катер-рина, горишь! Кур-рва! Петр-руха!

Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край Матёры, плясали огненные сполохи, огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугалась первым страхом:

– Господи! Мы, ли че ли?!

Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку:

– Ну, бесовый! Ну, бесовый! Как знала! Как знала! Царица небесная! – Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда – домой, что еще только вечером было ее домом. Богодул, заторопившийся было за ней, с полдороги переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню.

Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся "от дыма в легких и от жара в волосах – волоса аж потрескивали". "А то бы хана, – повторял он с усмешкой. – Ижжарился бы без остатку, и не нашли бы, где че у меня было", – и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно и не рассчитывал на веру, он знал Матёру, знал, что и его знают как облупленного, а потому допускал и свою невольную вину. "Я вечером печку топил и лег спать, – лез он с никому не нужными объяснениями. – Может, уголь какой холерный выскочил, натворил делов", – и опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него только это и было важно – что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел, он так уверился в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе – того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал и грозил: "Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы..." – и точил кулаки, пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или с вечера еще не просох окончательно, но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался; лохматый и грязный, был он в майке, одна лямка которой сползла с плеча, и в сапогах – обуться все-таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня: на земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошонка и "подгорна" – гармошка,

которая в Петрухиных руках знала только: "Ты Подгорна, ты Подгорна, широкая улица, по тебе никто не ходит – ни петух, ни курица..." Петруха все хватался за нее и все переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз.

Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где – с какой стороны подбежала каждая и уперлась перед жаром. Как никогда, неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми; длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сторону – на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право кричать, узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной – и остальным сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она, понадобится если, удержит около себя Катерину и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах. Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что с малых лет было ее домом.

Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном событии, сколько бы много ни было имеете народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один – легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо, неловко, что стоят они без движения, что они и не пытались совсем, когда еще можно было, спасти избу, – не к чему было пытаться. То же самое будет и с другими избами – скоро уж – Петрухина первая. И они смотрели, смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет, – так человек с исступленным вниманием вонзается глазами в

мертвого, пытаясь заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя.

Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом, – будто было это давным-давно.

Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все – стены, крыша, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием – в нем светились ближние, начинающиеся улицей, избы и тоже как горели, охваченные мечущимися по дереву бликами; им озарялась Ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью; бугор за дорогой, который то выхватывало из темноты, то снова задвигало в нее прыгающим сиянием, казался бурым, опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскаленные угли; высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону деревни – там, там быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь опал, покатились верхние горящие венцы – люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала навзрыд, невидяще кланяясь поверженной избе, которую ненадолго окутало дымом, пока передохнуло, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями выхватывалась, будто плясала, русская печка. Огонь полез по забору во двор, но и тут не захотели его остановить – к чему двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшись без головы?

Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло. По какому-то точно наущению они оглянулись на Петруху. Они оглянулись и на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой; пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже, с той поры как прибежала мать, терзало, что она не подошла к нему, не спросила и не обругала, не пристыдила, она будто совсем забыла о нем, отказалась от него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь, посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обозлившись, он решился и, подойдя, сказал – да такое и так нахально, грубо, что и сам испугался:

– Мать, дай закурить.

Она непонимающе и все еще всхлипывая, подняла на него лицо.

– Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть, – не остановился Петруха. Дарья расслышала.

– Я те щас закурю! – негромко, во напористо, властно пригрозила она. – Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!

– Хек! – только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту.

Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без

страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлел и огонь.

Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом: вот и нарушился порядок Матёры, с одного края деревня оголилась, и теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше, ничем, никаким миром от него не спастись…

Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой – легче будет потом: не страдать, не мучиться в ожидании своего огня и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла.

И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни курится, не остывая, избище и остро пахнет горелым, но не выгоревшим до конца, ничем не убиваемым жилым духом.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост, загодя выбранный на ближнем бугре, откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца, и тут же вернулся обратно.

Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь играющей краской. Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками вышорканный пол и никак не мог зацепиться за него, соскальзывал и смазывался – и вдруг, углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх. Затрещали,

накаляясь, стены, и то ли от жара, то ли от постороннего вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось, стекло в выходящем на Ангару окне. Оттуда, будто поддувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь, свободно вздохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь и продолжая накалять потолок и стены.

Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых прибежавших Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до Хозяина, которому пришлось ползком выбираться в темноту.

И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуда, как нарисованные, огоньки над живыми еще избами – только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей – их было много. Подняв глаза еще выше, Хозяин увидел дымы над материнскими лесами, и дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову.

Горела Подмога…

Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не дали добыть…

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после… и после…

Но он видел и дальше…

9

Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные поездки туда-сюда изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, а какое место определят ему в совхозе, он еще толком не знал, да и никто, похоже, этого не знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство, – куда растолкать многочисленное прежнее колхозное чинство, людей из среднего и высшего звеньев, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь, научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой. Павел готов был идти куда угодно, он на себя много не ставил, но он видел, как снуют, оглядываясь друг на друга, охочие до должностей люди, с какой растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда, к тем или другим, их занесет. Павла покуда поставили на ремонт техники, назначив бригадиром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит – спросить будет не с кого, а спрашивать есть за что: техника, и старая и новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успело развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с рабочими – те не знали, кого слушать. Не работа, а нервотрепка. И лучшего нельзя было ждать, пока совхоз полностью не вытащит из Ангары ноги, не подберет весь народ и все хозяйство и не определится, не устроится новая жизнь.

Когда Катерина перебралась к Дарье, стало поспокойней и Павлу: вместе старухам будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет не поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на сенокос и уборку, сюда, в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду

остров, – ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: "Там видно будет", и он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боясь, что после уборки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку – сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать: "А-а, Павел Пинигин, который Матёру спалил..." Такой памяти он не заслужил.

Приезжая в Матёру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матёры не отлучался. Поселок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его – хороший поселок, но мало ли их, хороших поселков, на белом свете? Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше. Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр и открывалась перед ним родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплыл – и невидимая дверка за спиной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены.

А что перемены? Их не изменить и не переменить... И никуда от них не деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо – значит, надо, но в этом "надо" он понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И когда, собираясь вместе, маракуя, что к чему, старались догадаться мужики, зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла.

Поставили – и хоть лопни! Будто, как в старых сказках, пустили наугад стрелу, и куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое: не для себя строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей, – директор совхоза, но этот "свой" со стороны явился и куда-то на сторону тут же и провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы так же спокойно поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что, будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было сделано, деньги угроханы, и деньги немалые, изменить что-то стало невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться, она все перенесет и примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой, но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать большие неудобства? Вот о чем думал и что пытался понять Павел. И не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется и что жизнь в конце концов там наладится.

Надо – значит, надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут не жил, не работал, не поливал своим потом каждую борозду. Вот оно – гектар новой пашни разодрать стоит тысячу рублей; на него, на этот золотой гектар, посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли ее – она красная, впору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать люцерной по пословице "с паршивой овцы хоть шерсти клок", и неизвестно еще, уродится ли люцерна. Кто знает, сколько надо времени, чтоб приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под

хлеб, заставить ее делать то, что ей не надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!

"Нет, старею, видно, – ставил себя Павел на место. – Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают – так и надо. Построили поселок тут – тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. Все, что ни происходит, – к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля – привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый – испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет от собственной коровы – привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой коровой, не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, луковку – всё привезут… А где возьмут – не твоя забота. У нас поселок городского типа – вот и будет в нем как в городе, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что будешь сеять-пересевать ее, ты получишь, на деньги эти, что потребуется, купишь. Вот какой выстеклили магазин – любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий… А плохо станет здесь – уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана.

Старею, – признавал он. – Постарел уж – чего там! Считаю, что мать по недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее? Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку, наваливается вторая, еще похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать. Не понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды? Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с поселком? Зачем потребовали от людей, кому жить тут,

напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед – и почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек".

А возвращался в поселок, заходил в свой дворик, к которому волей-неволей успел прилипнуть, и смирялась душа: жить можно. Непривычно, неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно квартирант и есть, потому что дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься на готовенькое: дрова не рубить, печку не топить… Воду, верно, носить еще приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить – жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок поплевывать, никаких забот, никаких переживаний… Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без твердости и надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать, – ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался?

Ничего, привыкнет и к этому…

Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом – в квартиру теперь надо говорить, не в дом, – как вошла, ахнула, увидев сверкающую игрушку – электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые и белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду – будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям – как у них, взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привезти и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная, предовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире.

А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты – распушилась, откуда что и взялось? Как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться как угорелой со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками. У Сони к тому же две сестры в Иркутске: одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила как барыня, в квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось туда вырваться, недобро смотрела на ухваты да чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там нагородили с три короба, как хорошо да ладно, культурно да уважительно, свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла, – она и растаяла, поддалась, полетела чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому как раз пошли слухи о затоплении и переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош, а кого матушка-деревня взрастила да до старости довела – сиди уж, не рыпайся. А вышло, что и ехать в город ни к чему, город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли…

Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку – все не завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи – и, как великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, уже другую привычку народ возьмет.

Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее – забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как,

а когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.

10

Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня – то сгорело, это сгорело… Больше всего убивалась Катерина по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого дня – после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.

Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в дому не будет, теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия – это уже и не стол, а так… кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Из веку почитали в доме трех хозяев – самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник – да белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после отца не было никакого.

У Дарьи, у той в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука поднялась? Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и, когда Дарья подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась:

– Беспутный, дак че…

И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без крова и хлеба, – один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, что с него взять?!

– Вот, вот, – распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. – Всю жисть ты так. Всю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, – с досадой спохватилась она, – в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб не всплыть тебе.

– А он может, – вздыхала Катерина. – Беспутный, дак че…

– Вот и поговори с ей, – всплескивала Дарья руками. – Я ей про дело, она – про козу белу… Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! – вот дал господь кормильца…

Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, материнского, мужика Алеши Звонникова, теперь давно уже неживого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но он и до

работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще теперь согревало ее. И говорила она об Алеше, как о своем, и в Матёре она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова.

Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше особенно и не посудачишь – всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. "А я таковский, – любил он прихвастнуть, – меня не перетакуешь". И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: "Ну ишо один Алеша Звонников объявился".

Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте – за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, – то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый: за что ни возьмется – все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину. где надо смекалку показать – только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький "Беларусь" на больших колесах – он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за

неделю оставил ровное поле. Как выпьет – так за руль, и пошел кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит: "Ты че творишь, Петруха? Опомнись – че ты творишь, куда ездишь?! Тут для того, че ли, место сроблено, чтоб ты его давил?" Он отмахнется: "Ниче ты, старая, не понимаешь. Так полагается. Такая разнарядка на севодни" – и дальше, а Катерина и отойдет в раздумье: кто его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить трактор ровно ходить по полю, не выскакивать из борозды.

Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним – он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз – колхоз, умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.

Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра – это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с большими рублями… Но до севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его не водилось ни капли.

Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:

– Дак ежли он такой и есть – че с им самдели? Голову на плаху?

– А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? – подхватывала Дарья. – Он избу сжег, ты ему слово сказала?

– Сама говорела: так и этак бы сожгли…

– Да не своей же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! Ну!

– Он, может, самдели незначай.

– Вот христовенькая, вот христовенькая! – приходила Дарья в восхищение. – Ишо бы – конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил – золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал – эва че придумали про мужика. Незначай, незначай…

Катерина умолкала.

– А как такие люди получаются? – пыталась она понять – не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. – Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому – дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не хотел понимать. Глаза заворотит – и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ребятами возилась?

– Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.

– А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже… не до баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я

погляжу на Клавкиных ребятишек… лучше самдели с мачехой жить. Родная она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету – на подзатыльниках да на кусках, бедные. А какие славные ребятишки, ласковые, послушные… С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?

– Н-ну, – хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.

Речь шла о Клавке Стригуновой.

– Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют – человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет – был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат – на пользу, другого – на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечалься об ем – он свое возьмет. Никакой правью не поправить. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что без толку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла… жалость одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.

– Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.

– А-а, че будет, – отмахнулась Катерина. – Мы уж тепери так и так не своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, там и ладно.

– Что тащит… правда, что тащит, – согласилась Дарья.

– Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, – подчищая разговор, вернулась Катерина, – и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой привет – такой ответ… а-а, – несогласным стоном протянула она, – ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться.

А свои, как право им такое дадено, до того лютуют… злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?

– А не доживай до этакой старости, – вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. – Знай свой срок, – и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. – За грехи, ли че ли, за какие держит господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так… Где их набрать? Человек должен жить, покуль польза от его есть. Нету пользы – слезай, приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые… им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела, – непонятно на что опять осердясь, продолжала она, – что думала: "Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки". Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала – я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет – от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо.

– Дак че – удавку, че ли, на шею? Дарья не стала отвечать.

– И хоронют оне нас, плачут… оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнют… какие мы были, – говорила она. – И жалко нас… потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили. Вот тогда бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че за ее ловиться – во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней останется память, позаметней. А ежели в гроб

тебя, как кащею, кладут – дак ить глядеть страшно. Такая страхолюдина всю до-прежнюю память отшибет…

– А мы-то в чем виноватые?

– А в том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую, держим. Чтоб нас она оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосле будешь терпеть – перекрестишься, не поверишь. Ниче уж живого нету, все вывалилось, окостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры – нет, милей тебя белый свет нее не видывал. Да нашто? Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила – и в землю… чтоб земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у их время. У их его тоже в обрез.

– Куда так торопиться-то? – отказывалась Катерина. – Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

– Оно и потеперь, может, не ты жила…

– А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто за-место меня будет жить?

– Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты – пошто ты тогда с Петрухой со своим не можешь сладить? Пошто не живешь как охота, а по чужой указке ходишь? Пошто всю жисть маешься? Нет, Катерина, я про себя, прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила… Сильно много со мной не сходится…

…Вдвоем и правда было легче и за хозяйственной управой, и за разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а

потом и после нее – так и шло время, так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные летние дни. На разговоры подходила Сима со своим неотвязным хвостом – Колькой; заявлялся Богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово; приходила глуховатая тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потому почти не говорила; приходили на чай и беседы другие, кто еще оставался в Матёре… Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе то и другое, жизнь и смерть… Никогда раньше так подолгу они не разговаривали.

И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь, было что в ней понято.

А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер.

11

Но еще сумела, всплеснулась жизнь на Матёре – когда начался сенокос. Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам – кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-побыть под конец в родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто, не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе, отказался поехать – привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!

Полдеревни вернулось в Матёру, и Матёра ожила пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с Подмоги, зазвучали по

утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницы, чтобы подладить технику на конной тяге, достали литовки – и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось – и поди ж ты! – как раньше, отыскались литовки и оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, косилки – и он подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, хотя только что помирал, стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись – так же покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, так же назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь, – будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники: тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь оставались только одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре за деревней. Но машину, как нарочно, как в наказанье, что она здесь оказалась, держали на побегушках: за холодным квасом по жаре сгонять или доставить на луг припоздавшую со скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней подвод. Но это уж действительно из каприза из игры, в которую, однако, включались все, и включались с охотой.

Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а то и не один, так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к воде – их сразу на тракторные сани и собирались метать. Но это потом, потом… пока управлялись, как раньше, косилками, конными граблями, вязали для копен метлы…

И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придется навеки оставить.

Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был, и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, – с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: "Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы", но в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

– Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому. И соглашался народ, задумываясь:

– Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, – ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза – из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не

забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки, по острову разгуливал народ – кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду – и непросто было сразу сказать, свои это или чужие.

Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди – запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в себе… Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце.

Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные грабли с большими изогнутыми зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день, до обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес, сырых и неровных местах, после обеда брались за грабли. Мужики ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того – от резких и вязких, тучных

запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!… Где, в каком краю может еще так пахнуть!

И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело – так и обратно скоро, не пожив вволюшку в Матёре. Дождь, что ли, брызнул бы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани – и верно, конец проглядывает, куда торопиться?! За сеном и с Матёрой на прощанье не побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человечьих сил осаживать ее – гнали, напротив, злясь на себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и работники не успели еще избаловаться.

По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе – полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала, благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства человеческие в лад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И казалось, сдвигались плотней в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что – не понять, не услышать было, но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое, следует отвечать.

Говорили мало и негромко – и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обморочное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней "Ты, Подгорна, ты, Подгорна…", сбивал настроение – и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель.

Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула:

– Но-о… это откуль такая божья коровка к нам заползла?

– Извини-подвинься, – возмутился Петруха – не "божьей коровкой" возмутился, а "заползла". – Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, летаю.

Это "извини-подвинься" он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за сожженную усадьбу пятнадцать рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:

– И-извини-подвинься. А я на что должен существовать? Я должон ехать, устраиваться на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги.

Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками.

– Много наменял-то? – спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не попадали.

– Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не мешайся. Устроюсь – выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова – извини-подвинься.

Два дня он потосковал в Матёре без магазина и нырнул в новый поселок, три дня плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в Матёре, спал без родного угла где придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось крайней степенью бездомности и опущенности, но форс продолжал держать, выдумывая про себя, что в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к своей инвалидной "подгорне" веревку, чтобы накидывать на плечо, и "тарзанил" ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березу и запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха, обычно языкастый, и отругиваться не стал – отступил.

…Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди…

12

В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной небесной, угодной полям и огородам, в Дарьин дом нагрянул гость – приехал Андрей, младший сын Павла. Павлу как отцу выпало обойтись без дочерей, четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни, но один сразу же, как только открыл глаза, не вынес белого света и отошел, осталось трое. Старший, женившись на нерусской,

поехал на ее родину на Кавказские горы посмотреть, что это такое, да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний, гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матёре, но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе – Соня работала в бухгалтерии и осталась в поселке, – отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел исподволь добился своего, вел в Матёре сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в Матёру.

Дождь оказался кстати: можно было посидеть, поговорить не торопясь; не решались отважиться на передышку своей властью, так ее спустил сам бог. Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе парень, которому армия пошла явно на пользу – уходил туда согнутый, заглядывавший в землю нескладень, а воротился этакий вот молодец с выправленной спиной и поднятой головой, – Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:

– Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?

– Куируюсь, куируюсь, – даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она.

– Неохота, наверно, отсюда уезжать?

– А какая тут охота. На своем-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да ползали полегоньку, а вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.

– Кто это, интересно, позволит вам умирать?

– А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами, – незаметно, в свою очередь, задираясь, говорила Дарья. – На это уполномоченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету.

– Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю.

– Пошто я на тебя-то буду бижаться?

– А на кого ты обижаешься?

– Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапивой жарила, чтоб ты на ем сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель…

Андрей смеялся.

– Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.

– Распорядись, распорядись… Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на крыльях летай. И не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все можешь? Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь…

– Э-э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от Матёры, оттого что ты дальше Матёры носа не высовывала. Что ты ничего не видела. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках такая сила – о-ё-ёй! Что захочет, то и сделает.

– Это сделает, сделает… – соглашалась Дарья.

– Ну, так что ты тогда говоришь?

– То и говорю. Сделает, сделает… А смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне не приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе покуль себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Издали вроде покажется: ну, это ниче не боится, самого дьявола поборет… гонор такой держит… А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше… Ты из своей человечьей шкуры хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под богом забыли – от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто до нас жил… Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе думал. А шмякнулся, печенки отбил – дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуда с земли не деться. Че говорить – сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!… И отсель, с Матёры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта… Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.

Долго сидели за столом; отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную Андреем, и ничуть не опьянели, только Андрей с лица еще больше помолодел, а Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив нее, и думала: "Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов – где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было… чтоб с другого конца новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так охота узнать, что будет?"

Дождь на улице подбивался и зачастил, на стеклах появились потеки. Потемнела земля, крупными сосульчатыми каплями закапало с крыш; пенясь, остановилась в окне Ангара. И сильнее, приятней запахло за столом самоварным духом, душистей показался чай, который пили теперь уже все, и важней, уместней показался семейный разговор, который они говорили.

– Мало зарабатывал, что ли? – спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода.

– Зарабатывал – одному хватало, – пожимал плечами Андрей. Он старался говорить с отцом на равных, но, еще не привыкнув к равности, как-то сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его. – Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь – ни одно утро не обходится, чтоб о ней не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод… таких много. В каждом городе они есть.

– Для завода погоду не передают?

– Так и знал, что ты сейчас это скажешь, – спохватывался Андрей. – Для завода и не надо, для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не убежит, а стройку закончат – обидно будет. Охота, пока молодой, тоже участвовать… чтоб было, значит, потом что вспомнить…

Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом: он скомкал, поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых, он знал это, отец не любил. Павел ожидающе молчал, и от этого неясного, как скрадывающего молчания Андрей начал горячиться.

– Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть, – то ли доказывал, то ли оправдывался он. – Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое… все, как говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно осталась, а на заводе что? По неделе с территории не вылазишь… Это на машине-то. Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься, развозишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтоб на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому… по-новому. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет.

– Опоздал, однако, маленько, – задумчиво кивая, говорил Павел. – Ее, ГЭС-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется.

– Ну-у, там еще столько работы! Хватит на меня. Самый интерес сейчас начнется.

Дарья насторожилась.

– Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? – только теперь поняла она.

– Туда, бабушка.

– Но-о, ишо не легче… – начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием.

– А что, бабушка?

– Ты пошто другого-то места не нашел?

– Зачем мне другое? Я хочу туда. Матёру, бабушка, все равно затопят – хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется, электричество, – присаживая на сильную шею голову и взяв голос, как маленькой, толковал он Дарье. – Наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить.

– А то она, христовенькая, на вред тут стояла, – тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят, наблюдая больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом или нет достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя, и, забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а подтверждая для самой себя – никак не укладывалось это в ее голове: – Дак это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?… Но-но… Гляди-ка, че деется!

– Почему я-то? – засмеялся Андрей. – Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши.

– Ну и не ездил бы туды…

– А что, – осторожно подхватил слова матери Павел. – Взял бы и остался здесь. Нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь ваш завод.

Он сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз: не стоило и предлагать – не останется. И верно, помолчав, словно бы подумав, Андрей покачал головой:

– Да не-ет. Из города уехал и к вам?

Можно бы возмутиться: какое право он взял, родившись здесь, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Павел не возмутился, он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын, что нажил он за последние, не связанные с домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл, – ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он заменит скоро отца на земле – нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его ответы.

– Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидим. – Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее; к новому совхозному поселку он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно. – У нас там будет как в городе, к тому дело идет. Ты был, видел, что творится.

– Видел. Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас.

– Какой тебе нужен интерес?

– Я уж говорил… – Андрей легонько поморщился от нежелания повторить то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем, стало быть, трудно сказать определенно. – Потом семьей обзаведусь, потом, может, и сюда приеду. А пока молодой, неженатый, охота туда, на передний, как говорится, край… чтоб не опоздать. Вся молодежь там.

– Война, что ли, – передний край? – не пропустил Павел.

– Передний не передний… я не знаю, как сказать. Так говорят. Где горячее самое место, самая нужная стройка. Сейчас все внимание туда.

Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и – мимо. Как-то неудобно даже… будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна эта ГЭС… пишут о ней столько. Такое внимание… Чем я хуже других?

– Закончат – снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием? Привыкнете ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда, под внимание?

– Там видно будет. – И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: – Как вы не понимаете?… Бабушка не понимает – ей простительно, она старая. А ты-то? – Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать "отец", но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему, детскому "папа". – Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матёре топтаться… Много ли толку от этой Матёры? И ГЭС строят… наверное, подумал, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матёру, и мне тоже жалко, она нам родная… По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его – из другого, из следующего поколения.

– Почему не понимаем? – задумчиво и не сразу сказал он. – Маленько и мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

– Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего – там молодежь. Где полегче, попривычней – другие. Все-таки не сравнить – там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них – самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже… если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте. Так требуется…

– Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало.

– Плохо, конечно, – не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей. – Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет назад и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матёру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался – и вышло, что земли без Матёры и правда не хватало. А сын его пошел дальше – не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее…

А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:

– В старину как говаривали… Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого неволит, – худая мать.

– Это ты о чем, бабушка? – хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном – точно говорили о бабах.

– А не об этом, – отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.

– Дождь-то как разошелся, – заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей; ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.

Стали смотреть на дождь – как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров; услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, неполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться, что, обновленный чистыми, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных по самому прямому родству, друг от друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверное, спросить давно:

– Когда уезжаешь-то?

– Поживу пока, – улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет. – Куда торопиться?

– Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? – предложил вдруг отец. Ему только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына.

Андрей с охотой согласился:

– Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.

– И правда, – обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: – Вдвоем мы на корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы уж в панику ударились, не знали, как быть. Одному где же… я на работе. Мать там. Бабушка тоже не помощница.

– До смертинки три пердинки, – кивнула Дарья.

Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая почти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным голосом:

– И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?… Заодно бы…

– Ага, – вспомнил Павел. – Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.

Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови, – всерьез ли говорят, но согласился и на могилы.

Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду, наполнившись до краев, – она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась… Вода стояла даже в травах. Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов; только вдоль этих порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег – надо было изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи, внизу же не было никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли; обвисли и нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным согбением, о которое шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая, дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода – пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, но она, добираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.

Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами как зимой – так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьина изба, в нее сразу же, как только приехал к Дарье внук, перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет – туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют "навар" – под "наваром" разумелась выгода.

– Мне чтоб фатера была, а не стайка, – выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, с придурью, с форсом. – Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей маяться. Конешное дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол… Но потребуется – сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь, – "жизнь" Петруха выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово, – к примеру, рассказать…

Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по газетам да по сбивчивым рассказам, но Петруха вдруг засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали:

– Сюда высылают?

– А куда – сюда? Ежли у нас почты нету? – поражался он людской бестолковости. – Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непогодь эта кончится, подъеду и зараз получу.

– С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?

– Пошто-о?! – Петруха был за полную справедливость. – Я про бездетность сам в детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь… не работал. Ну и что, ежли не работал? Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, о-о-о! С ним не шибко!

– Ну трекало! Ну трекало! – восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал:

– Понимать надо.

В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье – все обман, на который они из слабости человеческого сердца поддались. А правда состоит в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили не зная, чем жили, – зачем знать уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение, и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают не часто, – правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе, – так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты – не только то, что ты

носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, – вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколенья людей.

Так отчего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в Матёре долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами: было. Было, да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания.

Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания – он это и есть, его и запомните.

Но почему так тревожно, так смутно на душе – только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, – не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно с листом и отдельно с иголкой, каждый кустик веет своим дыханием; пахнет деревом постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за стайкой, огуречной ботвой, старым углем от кузницы – из всего дождь вымыл и взнял розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? Не раньше и не позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?

С утра попробовало распогодиться, тучи отжато посветлели и заворошились, пахнуло откуда-то иным, легким воздухом, вот-вот, казалось, поднырнет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к Павлу справляться, будет ли дело. А пока

собирались да рассуждали, опять потемнело и потекло. Расходиться не хотелось – сидели, возили все те же разговоры. Дарья вскипятила самовар, но на чай почему-то не польстились, видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан. У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился Афанасий Кошкин, или Коткин, кому как нравится, тот так и называл, а Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку-деревню кричал: "Кот и Кошкин, а Кот и Кошкин!" Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на Коткины: новое – так все новое, красивое – так все красивое. Над Афанасием подшучивали – он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

– Да мне-то што?! Мне што Кошкин, что Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным ходил – никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им што – она им, фамиль-то, не родная, она им што платок на голову – сёдни одна, завтрева другу одевай. Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня… я и задумался. "Кошкин, – грят, – это ты вроде под бабой ходишь, а Коткин – дак баба под тобой". Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: "Поллитру ишо дадите, дак берите". Никому не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили.

– За поллитру, значит, фамиль продал?

– Дак, выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам над етой буковкой крышку сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто, а расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был Кошкин, и есть Кошкин. А оне как хочут.

Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой, даже не домой, а на деляну, – Вера, пока суть да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но уходить из тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова – эта

давно бы и стриганула, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб – полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же, – к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно махнула рукой:

– А-а, ниче не жалко стало…

– Жалко-то, поди, как не жалко… – начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.

– Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, – отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее. – Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут… Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё какую-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.

Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям:

– Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить.

– Без хлеба, че ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.

– Покеда не сидим…

– Ну горлодерка ты, Клавка! – вступила, опомнившись, Дарья. – Ну горлодерка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.

– Раньче не было, теперь есть.

– Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога – пара.

– Нужон он мне как собаке пятая нога, – дернулась Клавка.

– А ты ему дак прямо сильно нужна, – обиделась, в свою очередь, Катерина.

– Вам че тут жалеть, об чем плакать? – наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дергалась головой вперед, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. – У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера… Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко будет. Такие уж вы есть… обсевки.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

– Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет… почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.

– Говори, говори, не отлынивай, – настаивала Клавка.

– Жалко, – сказал Андрей.

– За что тебе ее жалко-то?

– Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.

– Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться – как же! Это ты говоришь – бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.

– Почему…

– Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду… Ты тоже не любишь ее прятать.

Но Дарья и не собиралась обижаться.

– Я, девка, и об етим думала, – призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю. – Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пущай я такая… А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит – кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туе кобылу, что на семерых братов пахала… ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь – младшие споосют. Вы детишек-то нашто

рожаете? Только начни этак фуговать – поглянется. Мы-то однова живем, да мы-то кто?

– Человек – царь природы, – подсказал Андрей.

– Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.

И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матёрой крышку, теперь рассосалась, – было серо и размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни.

– Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, – приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и поднялся. – Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша седни уплыла, будем чаи гонять.

Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая, принималась сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а может, и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной глубокой и сонной задумчивости.

Была она в Матёре не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала – не столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекую старину сюда заходили тунгусы, – и так оно, наверно, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего – это и была Тунгускина дочь, немолодая безмужняя женщина. Прошлой весной, когда они приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по чьей-

то подсказке привезла свою старуху в Матёру, где появились свободные избы. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север. С огородишком она почти не возилась – так, грядку, две, да и те запускала до крайности – или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась, никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай, когда усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила.

Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше. Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли – что усаживалась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье – не встанет. Старики в Матёре тоже, бывало, примащивались курить на пол – вот она откуда, выходит, привычка эта, – еще от древних тунгусских кровей.

Пришла? – отрываясь от чая, спросил Афанасий.

Тунгуска кивнула.

– Вот тоже для чего-то человек живет, – философски заметил Афанасий. – А живет.

– Она добрая, пускай живет, – с улыбкой сказала Вера Косарева.

– Да пуша-ай. Ты в совхоз-то поедешь? – громко, как глухой, крикнул он Тунгуске.

Она, не успев сомлеть, опять кивнула – на этот раз уже с трубкой в зубах.

– Ишь ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет.

– Дался вам этот совхоз, – задираясь, опять начала Клавка. – Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза – опомнитесь, не то запоете. До чего капризный народ: че забирают – жалко, хоть самим не надо, в сто раз лучше дают – дак нет, ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают, то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка Дарья ладно, – сделала она отмашку в сторону Дарьи, – с нее спрос, как с летошного снега. А вам-то че ешо надо?

Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула:

– Дали б только корову держать… Косить бы дали… А там-то че? Другая жисть, непривычная, дак привыкнем. Школа там, до десятого классу, говорят, школа будет. А тут с четырехлеткой мученье ребятишкам. Куда бы я нонче Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать не надо. – Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно, представленной, захотелось свести… – Этот поселок да в Матёру бы к нам…

– Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная, – закричала Клавка. – Это опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить… Как в тюрьме.

– Привыкнем, – откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой решенное слово Афанасий. – Конешно, привыкнем. Через год, через два… тут Клавка в кои-то веки правду обронила… Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труды положим, дак што… Нас с землей-то первым делом оне, труды, роднят. Тебе, Клавка, не жалко отсюда уезжать – дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай, – остановил он ее, – мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читалкам мышковала…

– У меня грамота…

– Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов – у-у! – много трудов, чтоб землю добыть. За што и браться… Найти бы тую комиссию, што место выбирала, и носом, носом… Эх, мать вашу растак…

– Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да покрепче привык.

– Может, и так. Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику – он из любой заразы вылезет. Так, нет я Павел, говорю? Што молчишь?

Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся: говорила мать – он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий – он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. "Что же это такое? – спрашивал себя Павел. – Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни скажи, все без разбору впитывает внутрь? И где правда, почему так широко и далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть какая-то одна, коренная правда? Почему я не могу ее отыскать?" Но чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился, и если не вынес для себя в твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то потому лишь, что мешали этому боль прощания с Матёрой да горечь и суета переезда – чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному человеку бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти. И молодые понимают ее, видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые, им жить дальше. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой Матёре, за сегодняшней жизнью не поспеть.

– Привыкнем, – согласился Павел.

– Как думаешь, добьемся, нет хлебушка от той землицы? – спрашивал Афанасий.

– Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся – свиней будем откармливать или куриц разводить. Счас везде эта… специализация.

– Дак я на своем комбайне што – куриц теребить буду?

Бабы оживились.

– Сделают приспособление – и будешь. Чем плохо?

– Хватит пыль глотать, вон почернел весь от ее.

– Перо полетит, дак очистится.

Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно, занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то, как обычно, мелко и согласно кивала.

– Што, бабы, – руководил Афанасий, – будем закрывать, однако, собрание. Засиделись. Дарья уж самовар допивает. Какое примем постановленье? Переезжать али што?

– Без нас давно приняли.

– Пое-е-хали! Там, на большой земле, и вниманье на нас будет большое.

– Только клопов, тараканов лучше вытряхайте.

Как ты, Тунгуска? Будем переезжать?

Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно где плутавшие глаза и кивнула.

Ты, Дарья, тоже собирайся. Без тебя мы не поедем.

Но Дарья не ответила.

– Глите-ка, – спохватилась Вера Косарева. – Дожь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись… Воду толочь – дак вода и будет. Я побежала. Крикнешь, Павел, ежли че. Но сёдни уж не кричи. Сёдни я побежала.

…Дождь, дождь… Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова забарабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрызгало – словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли и небо, и себя – за то, что живут под этим небом.

В один из таких не устоявшихся еще шатких дней – не дождь и не вёдро, не работа и не отдых – приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воды. Народ собрали в грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах; не было и стола, за который бы устроились приехавшие, – они, дав между собой и народом небольшую, в три шага дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов – о том, что надо закончить сенокос по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на

него так, будто он свалился с луны: что он говорит – дождь за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он толковал свое. Представитель из района, по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и скуластым, как у всех местных, лицом и голубыми детскими глазами, который, быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию, – представитель этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл сюда: надо, чтобы к половине сентября Матёра была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища.

– Дак мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода… – несмело возразил кто-то.

Песенный развел руками; отвечал Воронцов:

– С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать. И мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут.

Но люди, изнуренные ненастьем, и объявленный крайний срок гибели родной деревни приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за картошку пораньше. И мысли пошли в сторону: выкопать – ладно, выкопается, а как ее перевозить, куда ссыпать? Где взять столько мешков? По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще: при нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать – огород под боком, а туда, наверно, понадобится снаряжать все одним разом. Вот и задумаешься: что делать, как быть?

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он завзглядывал кругом себя героем, а после собрания подошел к Воронцову и Песенному для беседы. О чем была меж ними беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху, что-то долго говорил Песенному, а тот вынул из кармана блокнот и стал чиркать в нем карандашиком.

И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября. Полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца – не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже без Матёры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза: где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят, походят осенние дни над Матёрой-островом, приглядываясь, что случилось, отчего не несет с острова дымом и не звучат голоса, пока в свой час один из дней, на какой это падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова.

И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

14

Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял, привалившись к дверному косяку, отдельно от всех, как человек посторонний, послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:

– Но-но.

Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли, глядя на Матёру, вся остальная земля? Но уже тише, покорней Дарья добавила:

– Вот так бы и человеку. Сказали бы, когда помирать – ну и знал бы, готовился… без пути не суетился бы…

– Что ты, бабушка! Зачем же знать?!

Она не ответила – может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся представлять.

– А забавно было бы. Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя, где год рождения, год смерти рядышком стоит. – Он натянуто, чужим смехом рассмеялся. – Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят, сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало – иди дальше, не работник; кому много – давай сюда. А захотел, к примеру, жениться: покажь, покажь, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым делом: ну-ка… Нет, бабушка, – поморщившись, задумчиво отказался он, – не надо. Пускай будет как есть.

Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный – первый знак того, что идет наконец погода. Временами соскальзывало и солнце – то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув, возле деревни, по поскотине, по полям и по лугу

и снесется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи – тоже чуют, что к чему, не просто так; слышнее и чище стали звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом. И Павел поверил: все, конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел натворить дождь, – не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять начинать работу.

Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда:

– Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?

– Помню. Как не помню.

– Почему тебе его жалко?

Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова:

– По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка.

– Да почему жалко-то, я спрашиваю. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?

– Ну, приспичило. Сказала и сказала. Я, может, так сказала, непроста.

– Не так ты сказала.

Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.

– А че, не маленький, ли че ли? – спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. – Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло… Не-ет, он тошней того – ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж – че там!…

– Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? Все на машинах. Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтоб самому упираться. Где ему надсадиться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил.

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

– Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете – че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили – вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

– Есть, говорят, такая.

– Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и бог, парень. И хошь не верь – изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того – человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на их работаете – не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянитесь. Оне от вас – вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека… себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол – никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится? – Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, варенную с утра для коровы картошку, и продолжала: – Я на отца твоего погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела – ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют… Упаси бог! Глядишь и думаешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся – в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте. Громоток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобился.

– Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом… Живем, и все. Кто как может, так и живет. – Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо.

– Живете… Живете как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живите… Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Одную бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя.

– Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?

– А я тебе про че говорю? – обиженно споткнулась она и вздохнула, опомнясь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не говорить – что толку! Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матёру, а она, вместо того чтобы поднять и вознести до срока и действа этого душу, берется рассуждать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж так ли они несчастливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? Но Андрей ждал, ему для чего-то нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскивая, с чего начать, потерянным до полного смирения голосом неуверенно скачала: – Ну и жалко… Ить только посмотреть на его…

Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять:

– Путаник он несусветный, человек твой. Других путает – ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется… И говорит… он хитрит на каждом слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится – не скажет, промолчит. Надо идти в одну сторону – он поворотит в другую. Опосле опомнится – стыдно станет, обозлится на себя… а раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она все-о помнит, все держит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет. Э-эх! – Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг – чего прежде и в голову не пришло – явилось недоверие к этому вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать бабушку – она продолжала: – Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться. Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться? У сватьи Татьяны невестка была за Иваном – Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гутька, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтоб доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен,

жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

– И ты, бабушка, тоже?

– А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо – нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть бог али нету. Прости, господь милостивый, прости меня грешную, – перекрестилась она в дверь, мимо Андрея. – Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют.

Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.

Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова, и повернулась к Андрею:

– А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру – ежли вы все можете, ежли вы всяких машин понаделали… Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому лишной не дал. А вам она лишняя стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут.

– Нету, бабушка, таких машин. Таких не придумали.

– Думали – дак придумали бы.

И, то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья:

– Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть – родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит – ребятенок, и плачет – ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено – страшно смотреть. И вот он мечется, мечется… По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит. А ишо смерть… Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь…

Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной, в прихожей, где одно окно выходило на Ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело.

– Господи! – виновато прошептала Дарья. – А я про смерть… Не иначе как с ума, старая, сошла. Не иначе.

Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая, что только зайдет за ночь, а утром выйдет и примется за работу.

Дурноматом кричали петухи; кричала скотина; где-то гулко и торжественно бухало железо.

15

И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех.

И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от него и отступали – и наконец, как льдины, растаяли совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымила белым, молочным парком, который тут же сгорал под солнцем; готовились кваситься лужи, в них со вниманием заглядывали, словно решаясь наконец научиться плавать, курицы, в них бродили поросята, но без жары не ложились, только примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист – лето, значит, будет долгим. Ровные в дождь, резкие и ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья из какого ручья вода.

После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего – он смыл и унес азарт и запал, с каким до того шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды – и домой. Хватит жить нараскоряку: одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой – рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду – где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды, – как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор?

– Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать, – попрекала себя и мужиков своих Дарья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом только и умны.

– Можно было, – пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. – Только он не сказывался, когда кончится. Можно было и сгноить.

Один Андрей не унывал:

– Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится – накосим. Я хоть завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копен?

– Ежели картофка уродится, пошто не хватит.

– Уродится – куда она денется? Веселел от этой уверенности и Павел:

– Может, с кем сговорюсь впристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не будет. – Он еще по привычке говорил "колхоз".

– А поправитесь, могилки, Павел, могилки, – не забывала Дарья. – Покуль могилки не перенесете, я вас с Матёры не пущу. А нет – дак я сама тут останусь.

Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с бабушки на отца: неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и выгребать то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда еще и его не было на свете? Зачем? Предстоящая эта работа и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила: интересно. Интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле тридцать, сорок, пятьдесят лет, и не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода-племени – дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, не испытанные еще чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай, особая история, которые наверняка не повторятся.

Но известно же, что человек только предполагает… Назавтра вдруг как снег на голову: Павла срочно, с посыльным, вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом.

Павел лишь на минутку забежал домой, приехал с луга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и без чаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула:

– Когда назад-то ждать?

– Не знаю, – на бегу отмахнулся он.

Андрей в тот день косил. Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте – на правом дальнем берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, чтобы острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, прямо с луга туда должен был завернуть отец. Но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей узнал, воротясь в потёмках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал – так что поверила и она:

– Утром приплывет.

Однако утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить – заворачивать далеко, долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен провалилась в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока добралась до места, – Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана – старого, наполовину разоренного, крытого корьем еще в первый год, как

получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под солнышко на поваленную траву – ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотрелась.

Андрей не столько накосил, сколько напутал, – видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, растерял, что умел. Валки топорщились высоко, сквозь них торчала уцелевшая, ростовая трава, прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть, – значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью: нет, ничего из загаданного не будет. Ничего не будет, не стоит и надеяться. Все впустую.

Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он.собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Не досмотри – он в кусты, где ягодка… И как он один живет?!

Но она для того и пришла, чтобы снять его с работы. За день она извелась и, когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась: пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом. Бог с ней, с косьбой: приедет Павел – накосят, не приедет – один Андрей так и этак не справится. Но она уже мало сомневалась, что на этом нынешний сенокос и закончится. Что нынешний! Никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли?… Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать косьбу, она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля на Матёре своя, но

эта из своих своя: сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, но сколько и снято, испытано радости!

Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыло картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, а затем тепла хорошо, богато пошли огурцы – снимай хоть два раза на дню. И Дарья снимала, жалея, что некому их есть, вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки караулили чуть не каждый огурец, размечая еще на гряде: этот твой, а этот мой… Давно ли, кажется, такое было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь оглянуться – жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать: вчера, сегодня, ну и, может, немножко завтра.

В огород теперь, когда появилось что клепать, лезли курицы, опускались и небесные птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на крестовину палок свой старый и драный малахай; не найдя подходящей шапки, повязала сверху грязную тряпицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть. Она, она… Встать вот так посреди гряды, раскинуть руки – и ни одна курица не подойдет, ни одна птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа… Господи милостивый! Или так надо?

Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям, история эта скоро не кончится… решили не косить. Но Дарья думала уже не о сене, она перепугалась:

– Дак он-то при чем? Его там не было. Он тут был. Пошто его-то таскают?

– За технику безопасности он отвечает.

– Ну и че ему тепери будет… за эту опасность? – За век свой Дарья давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого пальцем покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз.

– Ничего не будет, – как всегда, уверенно отвечал Андрей. – Потаскают, нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут. И все.

– Это он тебе говорел?

– Он говорил. Я и сам знаю. Известная штука.

Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах, – все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер приплелся Богодул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил из-за стола и, насвистывая, напевая что-то, стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает.

Раньше Дарья не стерпела бы свиста: "Ты кого высвистываешь, кого из избы высвистываешь, такой-сякой?" Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков.

После, когда рассерженный, недовольный ею Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил:

– Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую? Это же не человек, это зверь.

– Пошто не человек? – с какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью отвечала она. – Он человек.

– Какой он человек? Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину. Страх берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может, по-звериному рычит да бурчит.

– А я его и без лишнего разговора понимаю. И он меня понимает. Я ить, Андрюшка, потеперь ищу, кто ровня мне, не как-нить. Сама-то я лутше, ли че ли? Никого уж не остается, кто бы меня понимал.

Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу… ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой.

А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина снова перебралась к Дарье.

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после ильина дня отрезно, как после свадьбы, никто не купался, потому что "олень в воду написал", нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла

ветреная, сухая, но уже чувствовалось, чувствовалось время: ночами было студено; ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось и в душе, сиротя и сжимая ее; по утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошью Ангару, а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут свезти.

И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер где-то далеко, за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя и буйства не доходило.

Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмелились косить два дома: Кошкины или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться за литовку. А там бы видно было… тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить! Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась – нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?!

Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых высыпало видимо-невидимо, – будто за все оставшиеся наперед, оборванные годы. Где стоит хоть одна сосенка или елочка, – обязательно густой россыпью маслята. Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и разборчиво, без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыденок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу – там росла голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать "воронью ягоду" – жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. Вот и имя чудное, какое-то нечистое и жидкое, раньше на Матёре его не знали. Другое дело – смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом, было мало, только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые гари. Но для брусники еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть.

Дарья ждала Соню, невестку, думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не казала – так, видно, поглянулось ей на новом месте. Не все же время она работает… Ну да как хотят, им жить. Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел, привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке, неподвижную фигуру,

отлетающую словно от какой-то посторонней пущенности, и тяжело, устало размышляла: нет, не хозяин себе Павел. И не Соня им руководит, этого он не позволит, – просто подхватило всех их и несет, несет куда-то, не давая оглянуться… своим шагом мало кто ходит. Уехать разве к Ивану, второму сыну, в леспромхоз? А что там? Сторона хоть и не дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын. Может, съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить Матёру. Проводить Матёру и лучше всего к своим – туда, где своих в десять раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, кто там, и вдруг вспомнила старика своего – Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: стала забывать о нем, редко, совсем редко приходит он на ум. Господи, как легко расстается человек с близкими своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит – волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно – от одного отца-матери – встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся – каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить…

Одно лишь находилось у Дарьи оправдание, да и то если искать его. У Мирона, у старика ее, не было своей могилы, на которой можно посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыски, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с

ним сгинули две собаки – попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старик и был, это она, применяя его к теперешним своим годам, говорит "старик", а ему тогда едва перевалило за пятьдесят, в самой мужицкой поре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить: отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле другим, чем видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронул сердца. Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем, – той же Матёрой… Неужели и о Матёре люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают так скоро…

"Прости нам, господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, – думала она. – С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уже не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землей: все вижу, а понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора… Пошли за мной, господи, просю тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родине… к той, к которой я ближе".

Текла в солнечном сиянии Ангара… текло под слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матёра, омываемая той и другой течью; высоко над головой возносилось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару – время не остановится, и то, что казалось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матёра – все так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. "Что небу-то до Матёры? – поправляла себя Дарья. – Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются". И все же что-то в Дарьиных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее, рассуждениях обрывалось, для чего-то полного и понятного не хватало связи. И

билась, билась, короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время…

И хотелось с чем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.

Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины:

– У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит?

– Кто говорит? – испуганно отозвалась Катерина.

– Не знаю. Я седни пришла в себя, а я вслух разговариваю. Навроде как кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с им говорела.

– Царица небесная! Об чем спрашивал-то?

– Все смутливое, тяжело… И не сказать об чем. Видно, с ума схожу. Скорей бы уж, ли че ли…

16

Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние, дни. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, – все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики – тоже молодые, разудалые. В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что на завтра двоих пришлось отправлять к врачу. И на завтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени:

пожалейте, не губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и задирали его и потешались над ним, но и побаивались: не человек – леший, мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый и красноглазый, с огромными, как у обезьяны, руками и цепким пугающим взглядом, он поневоле внушал к себе почтение, а когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может, и не один за убийство, Богодула и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище – "Снежный человек", на что он, как и положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матюкался.

Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли: не свое собирают – не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля родит в последний раз, а могло случиться так, что и нынче б уже не родила – все равно… Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет, могли управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим… А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда, опять в деревне остались в сторожах одни старухи. Перед тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели – все ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на вес запоры.

А время шло. День да ночь – сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведенная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было различить со

стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше – снова спать или жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне, и тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех.

Днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принес урожай. С полей доносился приятный, будто и не машинный вовсе, стрекот комбайнов: на одном работал свой, материнский парень из семьи Кошкиных, на другом – кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу рядом с пинигинским покосом подогнали баржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор и в которую ссыпали от комбайнов зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь подвозили приезжим продукты и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность – куриц, поросят, овец. Это ведь как: только покажи одна, и пошло-поехало… Кудахтанье и визг раздавались каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками, большегрузная платформа.

Видать, видать конец… И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют – вон как взялись, сколько понагнали рук!

На Подмогу, где не было полей, только выпасы да леса, высадилась другая бригада – эта из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать на Матёру – хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала Подмога – вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Дула низовка, и весь дым с Подмоги

несло на Матёру – не видно в иные часы было неба, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались:

– Что делают-то? Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и Матёре недолго пыхнуть. Сушь такая… Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит.

А не свои, больше некому, подожгли в ответ мельницу – или по чьей тихой команде, чтоб потихоньку подчищать, или без нее, из одного озорства: все равно гореть – ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать – мы свой добудем, с треском, с огоньком! И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны, от Подмоги, а с верхней, слева от деревни. Кроме как мельнице пылать было там нечему. И, воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже улеглась:

– Пойдем, простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их – никто добрым словом не помянет! Пошли, Катерина.

– Куды? О чем ты? – испугалась та; всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали – не беду ли оно несет, не о худом ли скажет?

– Мельницу запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит.

На подъезде возле горящей мельницы, и правда, толпились одни приезжие. Что делает огонь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них действует? Эти как с ума посходили: они прыгали,

кричали, бросались под жар – кто дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, залез на березу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом, – на парня и на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха… На березе свертывались, подрагивая, листочки, западали с жаркой стороны тяжелые ветки, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей.

Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне – казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал; верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость.

Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих, но немолодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе – где было и услышать в том гуде и треске!

Постояв рядом, мужик спросил – в голосе его прозвучало участие:

– Хорошая была мельница?

– Хорошая, – без испуга ответила Дарья.

– Понимаю, – кивнул он. – Послужила, выходит, службу. – И протянул: – По-е-ехала!

Слово это – "поехала" – не выходило потом у Дарьи, из головы и стало главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки, – и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженной жердями плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали. Несли горький черный дым с Подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо – поехал, христовенький… Тянули к берегу зароды – пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как в бочке, а собственные где-та терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза – пустела Матёра, свободно было взгляду.

Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими, подговорила их спалить и ее избу – не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удовольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть – не пустили огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский простор. Разъединилась, распалась Матёра на две стороны…

В тот вечер, когда "поехала" мельница, Дарья с Катериной, воротясь в темноте с пожара домой, натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они сидели перед запертой дверью: Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то наговаривала ему. Она торопливо поднялась

навстречу старухам и, как всегда, когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась:

– Пустите севодни к себе… боимся мы. И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно… так страшно…

Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:

– Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!

– Кого убьешь? – всполошилась Дарья. – Как я тебе ее дам? Ишо правду убьешь! Ты че это? На кого так?

– Гор-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их… – Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.

– Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо сам живой был…

Но Богодул снял берданку и унес – разве что попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много не спросишь – таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.

Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке… Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из старых,

из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал – он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке, Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул – этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали:

– Эй ты! Партизан!

– Снежный человек!

– Турок!

– С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?

– Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?

– А у Ивана Грозного не хошь?

Да она у него и не стреляет.

Богодул только и ждал этих слов.

– Выдь! – показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. – Выдь, кур-рва!

Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось; Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.

17

А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли, – после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей – и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от Матёры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли.

На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клава Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить, а Петрухе она – дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жалуется. "Сытый, пьяный, и нос в табаке", – будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она якобы отказалась,

потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах.

Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:

– Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-ё-ёй!

Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

– Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи – не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папирёсу запалил, и грейся – куды тебе с добром! Подволошна – деревня большая, версты на три, однако что, растянулась… Там ему работенки хватит.

Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья сказала:

– Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи – кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм… Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает – прости, господи! – Пущай другой… пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее будет.

– А начто ему отмывать? Он и с ей проживет не хуже других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая такая же найдется.

– Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать...

– Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколько жить собралась – сто годов, ли че ли?

– Может, поехать туды? – не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. – Очурать его? Сказать: че ты делаешь?

Дарья с удовольствием подхватила:

– Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят – подволошенские али материнские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то и все три зараз запалит – ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы… Ну?

И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был Петруха и останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит петрухаться, такая ему судьба. А ей судьба – быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди… Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной – ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно, сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится – ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку?

Дарья… Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой… и жить-то уж ничего не осталось…

А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте. Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит. Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается, разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним внучонком на руках – тоже была бы тише воды, ниже травы? А что поделаешь? – наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой же, как Сима? – совсем ведь разные люди. Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной: ярче обозначались окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака – устало, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова – будто тоже тени слов настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала:

– А много ли, кажись, надо… Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб пристроился он, беспутный, куды… Занялся человечьим делом. Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, глядишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок

на обед. Пущай бы он на меня ругался, пущай хошь че – я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.

– Женить его надо, – недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе. – Ежли ты с ним не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы взяла. Иначе толку не будет.

– Кто за его, беспутного, пойдет…

– Дак ежли бы он маленько за ум взялся – пошто не подти?!

– Он так-то добрый, – обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья, значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для него пусть слабое, ненадежное, но спасение. – Сердце у его мягкое…

Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое… мягче некуда.

– Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас телка была… не доглядишь ежли – весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером под ворота и кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню – она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть – съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст – самдели уйдет. И раньше корова была… увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо ей кинет. Тоже подкармливал. А сколько этих щенков перетаскал! Где он их только подбирал?! Особливо ежли нетрезвый – ну обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на их кричать. Кажной кусок надо бросить, и их, кусков-то, на себя не хватало. Нет, он ничего не понимал.

– Ишь, до чего добрый! – не утерпела, ковырнула Дарья. – Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его дело.

– Беспутный. Я говорю, что беспутный, – привычно ответила Катерина. – Он и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, чтоб растянуть, по норме даю, а он как попало. А потом, под весну, и росить нечего.

– Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь, как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куда? Ты об етим подумала? Она мне про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету.

– Я и говорю… – Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости и надежды звучал пусто. – Ежли бы он куды пристроился… дали бы угол…

Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы не цветы да не морозы…

Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив Кольку, Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону.

Сима сказала:

– Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним. Внучонка бы дождаться, нянчиться…

– Ой, не говори, Сима, – простонала Катерина, не смея и надеяться на такое счастье. – Не говори.

– У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда голову приклонить. У меня хоть Коляня есть. Для него из последних сил надо жить. А как жить? День и ночь думаю, день и ночь думаю: как жить? куда двинуться? Нашелся бы старичок какой…

– Господи! – взмолилась Дарья. – Ить это надо! У самой уж… а она все про старичка! Ну… Какого тебе ишо старичка, невеста ты, прости господи, на семьдесят семь дырок. И из каждой песок сыпится. Че ты у старичка делать будешь?

Сима обиженно молчала.

– Ну, на что он тебе? По каку холеру он тебе потребовался? – добивалась Дарья. – Пошто ты нам не скажешь?

– Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего. – Если "Дарья Васильевна", не на шутку, значит, разобижена Сима. – А мечтать никому не запрещается, да. Катерина мечтает возле сына жить, и я мечтаю. Мне тоже охота свой угол иметь. Я не так чтоб совсем старая, на домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В мои годы люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг возле дружки старость принять. И Колька бы рос, у меня об Кольке забота. Я об чем попало не мечтаю. А на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы, и сготовила.

– Годисься, годисься…

– А если тебе мечтать не о чем – че ж… Не наше куковань е. Дети в люди вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову… Не все же плакать…

– И песенку старичку бы спела?

– А славный старик бы попался, и песенку бы спела. Он бы послушал.

Теперь замолчала, отступив, Дарья, смущенная позабытым словом "мечтать". Симе ли его говорить? Дарье ли его слушать? Мечтают в девичестве, приготовляясь к жизни, ничего о ней еще толком не зная, а

как почал тебя мужик да обзавелась семьей – остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше, и она тает, как снег, пока не истает совсем, впитавшись в землю, – и вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся из-под земли воспоминания. Ну так Сима – что с нее взять! В мечтания ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть некуда, все места заняты. А летать – крылышки не те. "Хошь Сима – да мимо", – вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и будет, не иначе. Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей, Дарье, от завтрашнего дня не надо… Не то что мечтать – куда там! – не то что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в одну сторону. На что ей, верно, надеяться? На смерть? Этого не минуешь, на это можно не тратить надежду. А на что еще? Не на что. Стало быть, скоро и помирать, если жить больше не с чем. А Сима с Катериной подержатся, поживут, и не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже не все еще вышли, а потому, что есть у них тут дело: Симе – поднимать мальчонку, Катерине – беспокоиться о Петрухе, надеяться на его выправление. Они кому-то нужны, этой нуждой в себе они и станут шевелиться, от нее же никому ничего не требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и конец. И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки.

Стало еще светлей и неспокойней – вышла в окно луна. Все бренчала и бренчала жестяным голосом одуревшая собака – прямо в уши вонзался этот невредный лай. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать – и так захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. "Как вареный", –

вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья – надо было что-то сказать – спросила:

– Уснул мальчонка-то?

– Уснул, – услужливо ответила Сима. – Давно уснул. А ты че?

– Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, посмотрела, вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь.

– Ну и кто с тобой говорел? – спросила Катерина. – Мы, нет?

– Кто вас разберет? По голосу навроде вы, а по словам – каки-то молоденькие. Ох, че щас Настасья наша – спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас поминает. Она ить не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья – от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю жизнь не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать.

Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:

– Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того – злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде незлая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут – ну и пущай. Оне хозяева, ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не надо. Так, нет я, девки, говорю?

"Девки", не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.

– Уснули, ли че ли? Ну спите, когда уснули. Скоро, однако что, рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет – ишо потопчемся. Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем, люди говорят, твоему сердцу болеть. Только пошто оно так болит? Хорошо, ежли об чем одном болит – поправить можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет… Никакого спасу. Сильно, выходит, виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи, спи… Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когда боле ниче бы и не было, можно жить.

18

Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый – унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, – сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку.

Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись – после них и прошел этот благодатный, очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне; верещали бабешки, кого-то успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит, больше того стравливая, сшибая злость со злостью; всю ночь как полоумные шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром, перед отплытием, на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в

которой квартировали. Только они отчалили, вышел из кустов на верхней протоке еще один из этого же войска – покорябанный, грязный и страшный в свежих лохмотьях на одежонке, имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в деревню – как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у него, видать, что-то осталось, каким-то чудом сумел развернуться внутри и выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился, стал, отойдя, смотреть, как горит.

Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще в темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей – то, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под ногами назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым – дым больше так и не сходил с Матёры.

На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на глаза живая курица – загоняют и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха: зажав вдвоем меж ног, его уже доканывали. После этого чудо какой голосистый, петух уже и не кукарекал, а только жалобно по-утиному крякал, – смертный страх даром ему не прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали вверх – игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склоненную спину. Просто швырять картошку – хулиганство, а с пером – игра. Играли – такой народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверно, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали наблюдала: галдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтобы ненароком не убежали, но

кто работает – подвигается споро, вырывает ботву как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистя себя, готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза, а теперь, перед смертью, и ей было все равно.

В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин – из конторы, больницы, детсада, столовой – откуда только можно. Совхозное начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальней и неудобной Матёре, сюда и гнали людей. И прибрались, верно, быстро: в прежние годы самая бы страда, самая работа, и нынче – все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались: сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена земля. За центнеры никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток – чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время обходиться без того, что давала эта земля.

Из материнских баб на совхозную картошку мало кто ходил: сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь в отличие от сенокоса не сходились вместе, не пели песен, не вели о подступающей жизни бесед – торопились, каждый жил в своем доме, в своем огороде своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло. Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц: четвертый куль – твой, но скорей, скорей… Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой паром – и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась и сквозила Матёра. Да и какие песни – полдеревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! Горели уже материнские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать – туда, на дым, и плыли.

Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на Матёру. Было их то пятеро, то семеро – мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными – той последней окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей – пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что "поджигатели", как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, Богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то Воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их.

Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста – ведро, два куста – ведро. А ведра, конечно, не базарные – свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, картофелинами, охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай, с берега на паром или катер ворочай, а подводу надо караулить, потому что на деревню осталась одна кобыленка, всех остальных увезли, а машин не осталось уже ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох мучились с этим богатством! Но самое страшное оханье: куда ссыпать там, в поселке?

Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил свое овощехранилище, едва заполненное до половины, но это только подумать хозяйке: в одну огромную общую яму ссыпать свою картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к черту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит! Что тут говорить! Не у себя – не свое. Да на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит.

Но это там, там, впереди… Здесь же надо было поскорей выкопать и увезти, чтоб не унесло водой.

Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался небольшой докопок. Отпросился с работы Павел, впервые за лето приехала Соня, но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну и раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что ни скажи – ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу и не понравилась Дарье.

– Как, как, говоришь, ее зовут? – нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая.

– Мила.

– Мила? Рази есть такое имя?

– Есть, – смеялась приезжая. – Есть, бабушка, есть. А что?

– Ишо не легче! Раньше это парень любую девку мог так скликать. Все милки. Частушки про их складывали. Нешто не слыхала? А теперь телок так зовут.

– Телок? – пуще того заливалась работница. – Ты, бабушка, скажешь… Значит, я телка? Похожа я на телку?

– Однако что, похожая, – с удовольствием соглашалась Дарья. – Тогды правда что Милка.

Работница копала два дня, и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку – пускай, христовенький, отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

– Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой… У их хорошие бывают наклички. У нас, помню, Зойка была – куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку – и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей Есть они – ха-ха, и нет – ха-ха! К таким и горе придет – не поймут, что горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет близко к сердцу, все в леготочку, все жизнь – потеха, И верно – чем плохо? Где бы такому научиться?

Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли, во всю имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края. Да еще сколько копать! Это значит, возить не перевозить. Дарья намекала, что надо бы помочь Катерине, увезти и от нее мешков пять; на Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет, а старухе где-то жить, что-то жевать.

– Куда я их?! – не отказываясь, не зная действительно, что с ними делать, пожимал Павел плечами.

– А свою куда?

– Что не войдет, придется пока на веранду высыпать.

"Не войдет" – это в подполье. Павел промучился с ним с месяц: привез с Ангары песочку, сделал настил и избавился-таки от воды (хорошо еще, что дом угадал на взгорке: у кого в низине – там не избавиться), но теперь оно стало заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону – возни не оберешься: подполье цементированное, а отроешь – как знать, не забулькает ли снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть.

Соня, копавшая два дня внаклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее как на незнакомую: потолстела, одрябла, остригла на городской манер и закручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В Матёре не до болезней было, тут и фельдшерицы не усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад.

– Кто там – ндравится? – осторожно спросила у Сони Дарья.

– Да уж не здесь, – не объясняя, с какой-то злостью ответила она. А что "не здесь" – хуже, лучше? – поди разберись.

И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет другим. Тут она жила в своей избе, все кругом на десять рядов было своим, идущим от нее, и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею – это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе, – пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без того, чтоб над кем-нибудь не командовать, это ему самая сладкая служба, и чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свое.

Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили картошку, вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. Отставлять наперед больше было некуда: наступила та самая, объявленная крайним сроком, середина сентября. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку, – по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов, картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила – мало ли что! Разбогатела на двадцать рублей и Сима – этой совсем некуда ничего девать, не то что рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже сверх того, принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась, половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела.

Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из него куриц – неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последним: опустели кормильцы. Только кой-где торчала еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, зная, что не дадут ей затвердеть, мало кто сажал. Не видя больше надобности в

себе, заваливалась городьба, ветер позванивал на высоких грядах высохшей тонкой огуречной травой, ерошил бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала ее, как и раньше, в копну, а увезти, пустить в корм скотине отказалась и она: больше того мороки. Не до ботвы – хорошо хоть сено переправила, и тому не могла нарадоваться.

Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться и за ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни и ссыпали картошку на пол, а для чего копали, для чего ссыпали – чтобы сгореть ей вместе с избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жаренными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес, – вот так же, может случиться, испекут и картошку. Но в земле оставлять совестно – как, правда, допустить, чтоб не выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки Настасья приехать, раз сулилась, – как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из Ангары в самый последний момент, когда будет не до копки, а сгрести времени много не потребуется, сгрести они ей пособят. И выкопали – нет Настасьи…

Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву – Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливалась она выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. Долгими часами стояла стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел, Майка послушно пошла – куда угодно, на что угодно, но прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром, дала себя привязать, отвернувшись от Матёры, кося глазами на далекий противоположный берег.

Дарья, провожая ее, заплакала.

– Ну что, мать, – еще дома сказал ей Павел, – может, и тебя сразу соберем? Больше как будто тут делать нечего.

– Нет, – твердо отказалась Дарья. – Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб просто так с Матёры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть че делать.

– Подожгут скоро, мать…

– Пущай поджигают.

И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спрашивать:

– Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?

Павел сник, на него было жалко смотреть.

– Видишь, как все нынче получилось, – стал оправдываться он. – Собирались же… если б не эта… А теперь когда? Я три дня сменщику задолжал. Наверно, не выйдет, мать. Не мы одни…

– Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут, – предрекла она. – О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилок?!

Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого разговора, на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше чем наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью: снималась с земли, отлетая в небо, сосновая пустошка за поскотиной, и бесцветное, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя то выскакивало вверх, то опадало. Если бы не треск и гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит: дыма от нее почти не отличить было от приносного,

стелющегося над Ангарой, чужого дымления. Дул слабый, угарный верховик, в горле у Дарьи першило, голова кружилась, ноги ступали наугад. Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукоток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо.

Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, на первой же полянке, чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок – то, чему помешали старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды – один конец. Много чего было видано и вынесено с той поры – сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого – ну и ладно, что дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к своим, а идти туда со смутливой, несогласной душой не годится, пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец…

Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная когда-то ею же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды. А в изножье стояла сосна; в ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в помине не было, она взошла позже от вольного упавшего семени. Холмик давно уже казался Дарье чересчур коротким, она не раз удерживала себя, чтобы не прилечь, вытянувшись, и не примериться к нему, понять наконец, скатилась ли с него за долгие годы земля, или, верно, так невелик человек. Ветки рябины и сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что, быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участие тех двоих, лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное…

Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания.

Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась:

– Это я, тятька. Я это, мамка. – Голос был неверный, вяклый, и, помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникновения тоном. – Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я, на меня пало. А я бестолковая, не знала, че делать. Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила… я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь че? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет… А я, клятая, отделяюсь, другое поселенье зачну. Кто мне такое простит?! Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? – Она уткнулась лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали. И туда, в траву, в землю, горько пожаловалась: – Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму. Сами видите. А меня-то вы видите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо… рази можно меня к живым? Я ж туда непригодная, я вашего веку. Мне к вам… я бы избу ишо проводила и к вам. Пушай огонь, вода… – Она подняла голову и поправила платок. – Избу нашу, тятька, не седни завтри тоже… тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну?

И вдруг ей пришло на ум – будто донесло угадывающимся шепотом откуда-то издалека-издалека: "А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы все в ей жили". Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась: "Приберу, приберу. И как я из памяти выпустила? Сама бы должна знать. Приберу".

"А ишо че? – надеясь на ответ, спросила она. – Ишо че мне делать? Как быть-то мне?" – и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая в одно слабые проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не сказалось. По-прежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды, – могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они, – не стыд ли?

Дарья подняла глаза – в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску, длинные тени казались закругленными и твердыми – вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки, – было еще не время. Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей – там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды – все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, – все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней… Они спрашивают о надежде, они

говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной…

Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: "Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так".

Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. "Тянет, тянет земля, – отметила она. – Седни, как никогда, тянет". Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше… Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его – солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.

А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на

сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше – впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания – зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной материнской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она, – и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было – то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

"Устала я, – думала Дарья. – Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти".

И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.

Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий "царский лиственъ". И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.

19

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить "она" об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, "царский лиственъ" – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его – тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией "царскому лиственю" верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки лиственъ присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, "царским лиственем", и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то лиственъ может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имели свои причины.

Толстые огромные ветви отходили у "царского лиственя" от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны – будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела

метрах в четырех от земли и издавна звалась "Пашиным суком": когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.

И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под "царским лиственем" после войны: все с того же "Пашиного сука" оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.

Вот сколько всяких историй связано было с "царским лиственем".

За век свой он наровнял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, – и кора со временем сползла, лиственъ оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, лиственъ издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление – и только, все остальное казалось цельным и литым.

А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным "царским лиственем". И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.

И вот настал день, когда к нему, к "царскому лиственю", подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя лиственъ, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, – с такой силой он спружинил обратно.

– Ого! – изумился мужик. – Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два – четыре. Не таких видывали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Лиственъ вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

– Как железное, – признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу:– Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять – двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

– Вот так, – удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. – Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, лиственъ как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

– Гляди-ка ты! – удивился тот же мужик. – Стоит! Ну постой, постой… – Это был веселый мужик, он баском пропел:– "Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя".

Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой – пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

– Ну зверь! – с восхищением щурился на лиственъ веселый мужик. – На нашего хозяина похожий. – Он имел в виду Богодула. – Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть – тридцать шесть.

– Плюнуть на него, – неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя – в болотных сапогах. – К чему нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

– Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

– Пилу надо.

– Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

– Я говорю про бензопилу.

– Не пойдет. Ишь че: ширше… – следовало непечатное слово. – Для него твоя бензопила – что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

– Что зря базарить?! – с усмешкой сказал он. – Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

– Разводили же вчера.

– Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

– Давай попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин – не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

– Как дважды два – четыре, – победно крикнул тот, веселый…

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к "царскому лиственю" не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.

– Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, – согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:

– Плюнуть на него – и дело с концом! Пускай торчит – хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались…

– Все бы плевали! – разозлился бригадир. – Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут – куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

– Было бы это дерево…

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к "царскому лиственю" с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее – пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом – не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, – результат один. И бригадир оставил пилу.

– Неповалимый, – сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. – Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

– Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь…

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям "царским лиственем", упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. "Царский листвень" не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный "царский лиственъ" продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

20

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через "не могу" нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала – не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку.

Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза – после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.

Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут – так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.

А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:

– Ну что, бабки, – перед ним они были все вместе – Дарья, Катерина и Сима, – нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам – доканчивать свое дело. Давайте не тяните.

И Дарья заторопилась – не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край Матёры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не вырвать.

Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:

– А я свою не прибрала.

– Ты ж не знала, как будет, – хотела успокоить ее Дарья.

– Не знала, – без облегченья повторила Катерина.

Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась – сначала на четвереньки, – хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:

– Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.

– Сиди! – в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее немощь.

Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить ее не учить, за жизнь свою набелилась – и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: "Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе". И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться.

Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже пожогщик – они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:

– Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!

– Завтри и поджигай, поджигатель, – остановила его сверху Дарья суровым судным голосом. – Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать – чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?

– Запомнил, – кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И, поозиравшись еще, ушел.

А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет – и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает – нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать.

Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей известки.

И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться

некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.

– Давай мне, – вызвалась опять Сима. И опять Дарья отказала:

– Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.

Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю – так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать – спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.

Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги – это пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

– И правда, спятила бабка, – сказал один веселым и удивленным голосом.

Второй голос оборвал его:

– Помолчи.

К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к "царскому лиственю". Мужик, кашлянув, сказал:

– Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все… переезжайте. Ты меня слышишь?

– Слышу, – не оборачиваясь, ответила Дарья.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою беду и обиду заплакала – сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра – и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!

Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет. Плакать – значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не виновата – в том разве только, что зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь, прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матёру.

В обед собрались опять возле самовара – три старухи, парнишка и Богодул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные съехали. Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину, а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя, чтобы Богодул немедленно снимался с острова.

– Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, – разъяснял он. – Райисколком устроит. Давай-ка собирайся.

– Кур-р-рва! – много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся тылом.

– Ты смотри… как тебя? – пригрозил, растерявшись, Воронцов. – Я могу и участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?

– Кур-р-рва! – Вот и разбери: понял или не понял.

Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо – то и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.

За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

– Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?

– Японский бог! – возмутился Богодул, широко разводя руки. – Нарры.

– А завтра и я к вам, – пообещала Дарья.

После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.

Сколько тут хожено, сколько топтано – вон как вытоптались яминами, будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.

Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью, – и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота. Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим.

Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом – ну да недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.

Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила. Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает, ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а продолжение никуда не денется, будет.

И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, чо там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но

Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на Матёре – все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.

Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с Матёры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке земли. "Откуда же это?" – поискала Дарья и не нашла. "А оттуда, из-под земли, – послышалось ей. – Откуда же еще?" И правда – откуда же сирой земляной дух, как не из земли?

Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. "Правильно, значит, догадалась про пихту ту", – подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра – тоже, поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда идти, как на дальнюю и вещую посланницу.

Она отыскала пихту, которая сберeглась для нее и сразу же показала себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит. Устали не было, и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались неслышно и самостоятельно.

Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный, застывший лик. "Чует, ох чует, куда я ее обряжаю", – думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила, забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.

Жуткая и пустая тишина обуяла ее – не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках ветер. Все кругом точно вымерло. Собаки на острове оставались, три пса, брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матёре, кидаясь из стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.

Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.

И всю ночь она творила ее, виновато и смиренно прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.

Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики.

– Все, – сказала она им. – Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой…

И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза.

Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.

Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле "царского лиственя". Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела, как сносит с острова последние дымы.

Вставай, мать, – поднял ее Павел. – Тетка Настасья приехала.

21

Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала:

– А Егор-то… Егор-то!…

Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить, не верить в смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это время еще больше, и если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и как ни в чем не бывало палит свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы она хоронить живого, что дело дошло уже до этого. И страшно представить, что деда Егора нет…

Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе громоздилась гора посуды. Дарьин

самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом – у другой, не пахло даже мало-мальски жилым духом.

Но выбирать, искать что поприличней не приходилось. К этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, в горячем пепле время от времени что-то донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела Матёра – царство ей небесное! Этот барак не считается, он, рубленный чужими руками, и всегда-то был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже пожогщики и под вечер на заказанном заранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих изб, прятались Сима с Катериной.

– Ну что, бабки, с вами делать? – сказал один. – Неуемные вы старухи – так и так ведь сгонят. А нам пережидать… ну вас! Мы лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело.

– Слышь ты, бурлык! – окликнул второй Богодула. – Чтоб в целости не оставляли после себя, не положено. Спички-то есть?

– Кур-рва! – рывкнул Богодул, а Сима, испуганно и обрадованно засуетившись, перевела:

– Есть, есть у нас спички. Есть. Мы сами.

Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел с поскотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень замшелый – Богодул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:

– Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал.

Она не стала даже отвечать.

– Ладно, – подумав, согласился он. – Раз тетка Настасья тут – ладно. А через два дня я возьму катер. Слышь, мать: через два дня. Завтра я в ночь работаю. А послезавтра будьте готовы. И мешки прихвачу – может, увезем вашу картошку.

Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались совсем одни, но уже не впятером, уже с Настасьей вшестером.

Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матёрой боль, Настасья рассказывала:

– Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю: "Ты пошто, Егор, не выйдешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники". А нас так и зовут другие-то, кто не с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормо-очем, бормочем… Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то… А он все дома, все один. Радиу разведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю: "Пошли, Егор, че люди говорят, послушай. Че хорошего ты по воздуху-то наслышишь?" Нет, он уткнется, ничем его не оттащить. На меня же ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделается. А сам пла-ачет, плачет…

– Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала? – замирая и стыдясь своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья.

– Как поехала-то? – не понимая, переспросила Настасья. – Куды поехала?

– Да сюды-то поехала?

Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.

– Он бы плакал… Он бы плакал, да он ж… он как плакать-то будет? Он опосле-то уж не плакал, когда помер, – вы че это?! Лежит, весь такой светленый, светленый, он-то, Егор-то… Я увиваюсь над им, я убиваюсь… – она опять закачалась вперед-назад, – …а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит, молчит…

– Схоронить-то пособлял кто, нет? – спросила Катерина, и Настасья, словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:

– Схоронить-то хорошо пособили. Че зря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла… Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лестнице заехал – "заезд" называют. Гроб откуль-то добыли, привезли, матерьялом обтянулив – я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая… не погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была, и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал… Весь остатный свет – радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: "Че там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься?" – "Посевная, – грит, – идет". – "Какая посевная? Какая посевная – под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, – говорю, – решился?" – "А эта посевная, – грит, – круглый год идет". Я говорю: "Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче,

старый, поплачь, лишнего не выдумывай". А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: "То и молотю, то и мелю, что урожайность даю". Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачный сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. Я спросю: "Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?" Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался до последнего часу ерепенился. "Он слышишь, – грит, – бонбы кидают?" – "Это, Егор, не бонбы, – я ему говорю, – это землю спуста подрывают, чтобы не копать". Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кончилась. А он-то никуды не ходил, это я ему доносю, что так и так. "Ухозвон, – грит, – ухозвон замучил". Только на этот ухо-звон и жалился, боле ни на че.

– А помер спокойно, не маялся?

– Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то бог и мне так. Днем говорит: "Поди, Настасья, возьми красненького, чей-то я весь отерп. Возьми, – говорит, – я кровь подгоню, а то она завернулась куды-то вся". Я пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я пошла ишо через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины – так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы, уж вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. И назад в постель. Мы с им нарозь спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку складывается. Лег – и вижу: глядит на меня. "Че, – говорю, – Егор, можеть, надо че?" – Голос у Настасьи напрягся, она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая, за ответом. – "Можеть, – спрашиваю, – надо че?" Я же вижу, что он неспроста смотрит. – И откачнулась назад. – А он ниче и не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не

сказал, – ишь, он боялся напужать меня. А чуял, чуял смерть. – Она опять прервалась и покивала. – Чуял, чуял. Я свет убрала, легла и заснула, непутевая. Заснула! – выкрикнулось у нее, но она тут же поправила голос. – А ночью пробудилась – слышу, дожжик идет. Че это, думаю, он – с вечеру-то ни одной тучки не видать было. Там хошь и плохо небо видно, да я все по привычке смотрела. И дожжик такой норовистый, тихий. Ой, думаю, че-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился, ишо и землю не замочил. А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я потихоньку говорю: "Егор, дожжик-то пошел. Он тебе нашто нужон-то был? Нашто, – вдругорядь спрашиваю у Егора, – он тебе нужон-то был?" Он молчит. Я за огонь, шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то, Егор-то…

Настасья заплакала.

Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали; испуганно теребил за рукав Симу мальчонка, она слабо отпихивалась. Со свистом гонял в себя и из себя воздух Богодул. Не дождавшись, пока примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сени и стал булькать там водой.

Баба, баба, – взялся за голос Колька.

Настасья, обернувшись, заметила его.

– Все с тобой Коляня-то? – спросила она у Симы.

– Со мной, со мной, – торопливо ответила Сима. – С кем он ишо будет? Пока живая, куда я его?

– У нас с Егором тоже ребята были, – сказала Настасья. – Вот Дарья с Катериной должны помнить. Помните?

Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили.

– Дак че – вру, че ли, я? – с обидой выкрикнула Настасья.

– Господь с тобой, Настасья, – сказала Дарья и, успокаивая, повела рукой по ее спине. – Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала – вот и хорошо, что приехала, вот и ладно. Мы-то тебя ждали как… Картофку твою мы выкопали.

– Каку картофку?

– Твою-то. Из твоего огорода.

– А-а, – отмахнулась Настасья. – Куды я с ей?

– Куды-никуды – не пропадать же картофке!

Спохватились зажечь свет, ан нет: у Богодула, как у таракана, светить нечем – ни лампы, ни свечки, а свою лампу Дарья оставила в избе, а она, поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо, и до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше: не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье и не пугает завтрашним днем. Причесали Матёру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, и, чудилось, всё – никто не приедет и свет не вернется, а их, прилипших к Матёре, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И, будто чувствуя это, жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима.

Богодул занес вскипевший самовар, поставил его опять на стол, на ощупь отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими

руками. Никто не спросил ни сахару, ни хлеба – казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру в окне тянуло свежестью; Сима, пряча от нее Кольку, зашебуршилась, стала укладывать его – Колька продолжал хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:

– Цыганско солнце, кур-рва!

– Ты самовар-то увезла – ставила его там, нет? – вспомнив, спросила у Настасьи Дарья.

– Два раза за все время ставила, – со вздохом сказала Настасья. – Один раз при Егоре ишо, а в другой – уж опосле. Аксинья черепановская пришла давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода не дай бог мореная, ее там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла. И углей нету. Она же, Аксинья, шишек сосновых насобирала, залили самовар и по лесенке вниз его, на улицу. А где ишо греть? Боле негде. Сидим с ей, караулим, а народ кругом ходит, смеется. Она, Аксинья-то, боевитая, ниче не боится. Замучилась ждать – без трубы тяги никакой нету, шишки наши как каменья. Ну, дождались все ж таки, надо назад тащить. У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых ногах кой-никак туды заползаю со своей одышкой. На каждой ступеньке стою. Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье – хоть и немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ей там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, мы как засели – самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет – ну и давай, ну и давай.

– Назадь поедешь, нет?

– Ой, да не знаю, Дарья. Ниче покуль не знаю. Я бы и рада не поехать, дак куды меня?

– Ты там, поди, не привязана.

– Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка там – как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь доведется, это надо в одночасье помереть, чтобы вместе лягчи. Я уж узнавала. Кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронют, кто с кем угадат. Ой, да мне-то долго не продержаться – все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не знаю, зиму перезимую, нет ли… Думаю, поеду, проведаю вас, на Матёру в остатний раз гляну. И зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела?

– Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не видала, ли че ли?

– Ниче я не видала. Я не видала, как и сюда-то приплыла, как на пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на Матёру напоследок поглядеть, так приспичило… свету белого не вижу. Ниче не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти не будет. Нюню, кошечку, привезу. Ой, – спохватилась она. – Нюня-то моя живая? Я и не спросю. Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?…

– Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою…

– Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.

– Вечер ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в продушину залезла, а может, родит где.

– Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то буду? – В темноте Настасья засморкалась, закачалась.

Дарья вдруг подсказала:

– Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али Богодула. А то про Нюню…

– Ык! – отказался Богодул. – Гор-род! – и возмущенно фуркнул.

– Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала, – обрадовалась Настасья. – Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, материнские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.

– Я не знаю, – растерялась Сима. – Надо, наверно, разрешение брать. Могут не дать. А так хорошо бы…

Настасья вздохнула:

– Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушко, он недорогой… Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах – у меня ажно голова закружилась. Ну, приехали. Дак нашто и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку – рупь. Да это че, думаю, деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! Я так ни с чем и обратно поехала. Нагляделась зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды оне столь хапают, нашто имя?! Ой, да че говореть! У нас покуль за телку деньги оставались, дак жили. А потеперь не знаю. Сулятся за Егора пензию назначить. Не знаю. За фатеру ондай, за огонь ондай. Можеть, ниче, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ниче не надо стало. Другой раз крошки в рот забуду, не возьму, и он не попросит. Как святая сделалась. В чем душа держится.

Завозился, укладываясь с краю у двери, Богодул, и Настасья умолкла. Часто, раз за разом, вздыхала Катерина, не слышно было ни мальчишку, ни Симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику, смутной рябью падал на стены и лица, тенетил дверь напротив окошка. И завороженные этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.

22

Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала, и Павел, замкнув лодку и поговорив со сторожем, подволошенским стариком Воротилой, прозванным так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим, направился было за десять верст в гору пешком, но ему неожиданно повезло: уже где-то на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме над острым, строгим и морщинистым лицом и сам, без просьбы, остановился и подсадил. Спрашивать, куда едешь, не надо было: дорога от сворота вела только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчал Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в поселок мужик притормозил, молча, кивком головы ответил за благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху, возле самого леса.

Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны – влево и к Ангаре. Собственно, поселок слева и оставался, улица, по которой поднимался Павел, была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные постройки – гараж, мастерские, заправка, котельная, а еще дальше – баня. Она Рабочей и называлась. Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной; один Павел и шагал по ней, держась

жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами, – там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо, собаки (всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили – после того как участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял), там, за забором, устраивалась своя жизнь и свой порядок, быть может, высаживались даже черемуха и березки. Здесь же, на улице, как и на всех без исключения улицах, было просторно и голо – ни единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось, не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без умолку мотоциклы – гоняют, поди, обучаясь, пацаны. Мотоциклов этих развелось – в каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Иркутск, их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом: и мы, мол, не лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне обзаводиться мотоциклом и ему. В Матёре он был без надобности, там все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод – хоть куда доведись – на своих двоих не находишься… Это не Матёра.

Что верно, то верно – это не Матёра. Вот и не стало Матёры – царствие ей небесное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче же сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она… И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пережитое, – и лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место Матёры, пристально вглядывающегося в темную замершую массу воды – не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, не блеснет ли где огонек. Нет, ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать: тут – потому что где-то в каком-то месте ее пересечешь, а повдоль – нет, повдоль даже приблизительно не

угадать, где ж, на какой линии она, христовенькая, стояла, обетовала, куда она залегла… Все – поминай как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боли: будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потери. Хватит, хватит… никаких сил уже не осталось. Теперь не придется изводиться Матёрой, сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу – теперь, и, взыскивая с новой жизни здесь, в этом поселке, придется устраиваться прочно, врастать в нее всеми уцелевшими корнями.

Павел повернул влево и, скосив на одну улицу – так было ближе к дому, – пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел, только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы со всем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом сгинуть и не сгинул. И верно, печей, банек здесь не топят, дымокуров не разводят, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял; Павел стал вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде, и выходило, что не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в углу и преет, сквозь него уж трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но представил, что могут прибежать: что горит? – и плюнул, оставил хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь с оглядкой, на все ждешь указаний. И, возвращаясь опять мыслью к Матёре, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспоминал, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное чувство, – не пень ведь горит, родная изба – и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа! Точно оправдывая в чем себя, Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни: после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел. Все, что

требуется, они делают – и детей рожают, и работу справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал, что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то, на какую-то волю, себя, и бывает, надолго; и где он был, куда отлетал, что делал – не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает прочней, делает все, чтоб крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами – и так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в какое-то свихнутое и чужедальнее, как у лунатика, состояние, когда шевелиться шевелишься, но без головы, только лишь по инерции. Выплеснулись единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской водосточной трубой был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчего-то, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь. Хорошую, даже по нынешним временам, выстроили школу – веселую, в три этажа, приподнятую надо всем остальным, окнастую – и если поселок действительно походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными ульями, то они, постройки нежилые – школа, магазин, детсад, столовая, даже баня, – пятнали, разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А как, верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, ходил в эту школу, а его вызывали бы на собрания и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно, не бывать и этому. Вот отчего за самое горло берет тоска, когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас, ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь – и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил он опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит она в этот поселок. Что-то не давало, не опускало поверить – хоть ты что делай! – ни в какую невозможно было это представить себе, перед глазами тотчас опускалась пелена.

Отсюда, с горы, стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши домов струились с улицы на улицу живыми спокойными волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль; с полей доносился

натужный вой трактора, все еще гомонили, растекаясь по улицам, школьники, и горько, страдальчески взмакивала раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова. Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним-единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка. Здесь же, над головой, небо уже остыло и смеркалось, клонясь туда же, в сторону Ангары. Было не как в Матёре, где сразу после солнца прохватывала свежесть, – было кругом тепло и сухо, и шло это тепло от нагретой за день земли и построек, чувствовалось, как пахнет от них краской и бензином.

Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против леса, дошел до калитки и остановился, высматривая, нет ли среди бродящих в кустах, потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было. Павел заглянул в щелку в заборе и увидел, что она во дворе.

До чего умная корова – и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, по лесу, она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него – хоть убей – не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с собой ничего не может, таким уродился.

Что-то не хотелось ему идти домой… Не хотелось, и все. Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись – будто осторожно сносило их той же течью властительного времени. Слетел с осины напротив красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило его и вынесло на дорогу,

продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и без мысли чему-то кивнул: так и должно быть. А что так и должно быть, о чем подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство – поди разберись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он уезжал с Матёры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде, но сейчас вдруг стало не по себе. И не "вдруг" – что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. Но как опять же было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет, от старух она, конечно, никуда бы не поехала. И без старух, будь она совсем одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не сумев хоть немножко успокоиться на родной земле, возле этой избы.

И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку…

Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел в дом – пора было укладываться, утром рано на работу. Соня, ожидая его, сидела внизу, в кухне, и вязала, из большой кастрюли на полу тянулись красная, зеленая и черная нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи, и конторские, все без исключения, опять же чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В Матёре от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам и рукавицам износу. В них воду наливай – не капнет, не то что Сонина, со сплошными дырками, как кружево, по моде работа.

Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала:

– Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя.

– Кто такой?

– Петруха. "Где, – говорит, – моя мать?"

– Вспомнил про мать…

– Я и говорю: не рано ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал бы, пока затопит, потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или пьяный. Одинаково боталит.

Павел не стал расспрашивать, что такое "боталил" Петруха, ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы: пускай поможет послезавтра перевезти старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал – только куда, в какие хоромы, в какое царство-государство станет он ее забирать? Но это уж не его, не Павла, забота. На него, чувствовал и предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой и Богодула, провожать обратно Настасью. Будет еще мороки, будет… Но не это, в конце концов, страшно, с этим он как-нибудь бы управился, больше всего пугало его, и мыслью не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного наперед, – что будет с матерью? Отсрочка на один день ничего не даст; оглянуться не успеешь, как вот оно, послезавтра, и надо ехать за нею, надо перевозить…

Только он поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги, и по громкому, нарочитому упреждающему этому стуку Павел догадался: Петруха. Легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был – вот уж кого нельзя было ожидать – Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал "здравствуйте", кинулся зыркать своими круглыми, навыкате глазами на круглом же и румяном лице по углам.

– Павел Миронович, – быстро и требовательно спросил он, – где у вас старуха?

– В Матёре, – уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел.

– Как в Матёре?! Ты же ездил сегодня туда! Почему в Матёре?!

– Я-то ездил, да она не поехала.

– Шутки шутить будем или что будем?… – вскинулся, растерявшись, Воронцов. – Как не поехала?! Что значит не поехала?! – Он, все еще не веря, осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх.

– Нету, нету, – остановил его Павел, а то бы и наверх полез. – Зачем я обманывать буду? Нету. Там. Не нажилась, говорит. Осталась пожить.

– А моя мать? – вскричал Петруха – ну прямо сердце кровью, можно подумать, окатилось у него в эту минуту о матери. – Тоже там?

– Ну если ты не снял ее оттуда – тоже там.

– Когда?! – завопил он. – Когда я сыму ее! Я только сёдни с задания воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреич скажет, – сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед носом грязной, перебинтованной почему-то черной тряпицей рукой. И по этому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха нетрезв.

Воронцов передернулся.

– З-задание! – вскипел он. – З-зад-дание! Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пьяница ты несчастный?! Твое задание, чтоб она здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь?! Есть указание, оно всех касается! Понимать будем или что будем?…

Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько Петрухе, сколько, конечно, ему.

Но Петруха решил обидеться.

– Я, может, и пьяница, – он исподлобья оглядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания, – но чтоб нещастный – и-из-вини-подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреич. Я на себя такую кличку взять не могу. Не имею права! Да! – капризно вздернул он голову и замер, проникаясь силой своих слов. – А пьяница… че ж пьяница… – Петруха помолчал. – Че бы вы делали без этих пьяниц?…

– Где они там живут? – не слушая его, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов.

– В бараке.

– В бараке?! Барак стоит?! Стоит барак?

– Стоит.

– Да это же! Это же… Вы понимаете, что это значит?… – Воронцов даже затрясся и кинулся к окну – и что он там хотел увидеть, было непонятно. – А ты, – отскакивая от окна, накинулся он на Павла, – ты, Павел Миронович, куда смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот, – брезгливо кивнул он на Петруху. – А ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать! Барак стоит! – простонал он. – А у меня завтра государственная комиссия. Утром нагрянет. Я им что – барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия – понимаешь ты, Павел Миронович? А он съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с кого завтра спросят? – При собственном же вопросе "с кого завтра спросят?" Воронцов напрягся и решительно приказал: – Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать положение. К утру чтоб ни барака, ни людей. Не вздумай смыться, – предупредил он Петруху: – Поедешь. На з-задание

поедешь. Вместе со мной. Ты, Павел Миронович, тоже собирайся. Хватит. Это дело государственное. Черт знает что творится!

Не хотелось Павлу ехать, устал он, да и ночь на носу, а утром рано на смену, значит, спать не придется совсем, но больше того не хотелось тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух и на глазах у них поджигать последнее, что осталось на Матёре, – барак, давший им последнее же пристанище. Но делать нечего – надо было ехать.

Павел представил, как станет Воронцов в темноте суетиться и покрикивать на старух, поторапливая и загоняя их на катер, как, не выбирая выражений, станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете. Представил мать и то, как она будет одергивать эту власть и как, с какой болью и требовательностью станет он смотреть на него, на Павла… представил потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывно головой… плачущего мальчонку… нахохлившегося и задиристого Богодула, за которым к тому же надо присматривать, чтобы он – чего доброго! – не кинулся на Воронцова… Представил Павел все это и предложил Воронцову:

– Может, тебе не ездить? Мы как-нибудь одни управимся.

– Не-ет, – вскинулся тот. – Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать, я должен быть уверен, что территория очищена, а на вас надейся – вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее.

Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы и на дорогу до гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать, полчаса и выскочил.

– А что, – сказала Соня. – И правильно. Зачем человека под удар ставить? Он отвечает.

– Пущай отвечает, – взъярился Петруха. – Пущай отвечает, никто ему не мешает отвечать. Да пущай человека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Извини-подвинься. У меня гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!

Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал, прошло не полчаса – час. Выехали уже в темноте, при звездах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору покатились быстро; торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны, лес; мельтешила на свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь; ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали. Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова намеками о сверх-урочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал недостойным себя, и Петруха затих, отчего-то (Павел видел это в зеркале) страдая и морщась. Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало, пристально и сердито уставившись в лобовое стекло.

Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину надвинулись сначала редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил:

– Туман?

– Туман, – обрадованно подтвердил Петруха. – Может, это… – Он не решался ясно высказать свое желание только поддернул голову, закидывая ее назад. – Че по туману шариться?…

Воронцов и на этот раз не посчитал нужным ответить. Не разворачиваясь, Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоящий за вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо. Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со сна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля – все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью. Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стукоток его пробивался дальше чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу:

– Воротилу подпер. Даже не шевельнулся, спит без задних ног.

– Все ребячишься? – поморщился Павел.

– Пуш-шай. Сторож, дак сторожи, а не спи, как сурок. Проснется, а выдти – хрен ему. В окошко надо вылазить. Вылезет, а катер угнали. Вот запляшет Воротила.

Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли будкой.

Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а испотью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда, но подниматься и идти в будку не хотелось, он устроился позади нее на приспособленном под сиденье чурбане и закурил, от прохлады и тревоги с особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым, но тревога не рассасывалась, напротив, все больше и больше обострялась и росла. Вот сейчас приедут они – и что будет? Замирало и отнекивалось от этого вопроса все внутри, и так не хотелось, хоть в воду бросайся, плыть. Сильней всего он жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант; он уже и забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как, как, в самом деле, угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, если там мать, если переезд ее нельзя перепоручить кому-то другому: мать никогда бы ему этого не простила.

Матёра лежала на нижний искосок верстах в двух от берега, от которого отчалили. Галкин взял сразу на Ангару и теперь вел катер вслепую, на ощупь: но уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный, дремучий туман, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по течению и только затем повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на Матёру и уж по берегу обогнуть ее и спокойно подойти, куда нужно. Но сейчас говорить об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь полное лето, дорожка знакомая, доберется, поди, по памяти, одним чутьем. Он вел катер осторожно, на малых оборотах; до Павла донеслось, как Воронцов добивался, чтобы он прибавил газу, но Галкин не подчинился, и ход остался тем же; на полной скорости, чего доброго, недолго залететь на мель – потом кукуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то далеко-далеко внутри, представлялось даже, что под водой, зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.

Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло: вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как ни всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и, катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора бы уже приехать, однако непохоже было, что они причаливали; Павел пошел в рубку, и по тому, с какой пристальностью, с каким беспокойством вытягивая шею, всматривался в темь Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь в дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы… И он, Павел, тоже как маленький: куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возражать. Теперь что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили Матёру выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так и получилось. А если так, надо, значит, брать вправо и пробовать встретить Матёру с другой стороны, от своей Ангары. Павел неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и повернул.

– Долго что-то, – почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. – Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

– Найдем, – без уверенности ответил Галкин.

От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.

– Ого, туманчик-то! – удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь. – Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали… Я говорил… – Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте – и Петруха его, конечно, не упустил. – В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. Дела-а-а!

Проплыли еще минут пятнадцать – вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу, – ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

– Глуши, – решившись, сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана, – самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз – там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода. Воронцов не выдержал:

– Долго мы еще тут будем возиться? Вы что – не понимаете или понимаете? Скоро утро, надо дело делать.

– Не кричи, – оборвал его Галкин. – Тут тебе не собрание.

И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь. Однако "не кричи", которое обидело его, потому что он не привык к такому обращению к себе, подвинуло его к другому решению, он потребовал от Петрухи.

– Кричи.

– Че кричи? – не понял тот.

– Что хошь кричи. Хоть караул. Есть же тут где-то живые люди или что? Может, они услышат. Или вы все сговорились? Ну?!

Петруха не сразу, не вдруг, показав, что он подумал и согласился с Воронцовым, пошел в нос катера, и оттуда донеслось:

– Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Где вы? Э-э-эй!

Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется: туман тут же, на месте, впитывал и топил голос, выбраться из его трясины ничто не могло.

Снова завели двигатель и поплыли, правя, казалось, к наконец-то точно угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему – и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана.

– Так нам и надо, – уже с последней, безучастной злостью, обращаясь к Воронцову, сказал Павел. – Какого дьявола было на ночь плыть – до утра бы не подождали, что ли?

– Если бы ты днем их привез, не поплыли бы, – оправдывался Воронцов.

Павел смирился: будь что будет. Он уже не подсказывал Галкину держать ни вправо, ни влево, тот правил куда-то, в какую-то пустоту, самостоятельно. Затих, смирившись, и Воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой красными, воспаленными за ночь глазами, но время от времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Пётруха встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя, все то же:

– Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матёра!

Затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять засыпал.

В конце концов, отчаявшись куда-нибуль выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана.

Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая, – они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось – будто проплывало мимо.

– Это че – ночь уж? – озираясь, спросила Катерина.

– Дак, однако, не день, – отозвалась Дарья. – Дня для нас, однако, боле не будет.

– Где мы есть-то? Живые мы, нет?

– Однако, что, неживые.

– Ну и ладно. Вместе – оно и ладно. Че ишо надо-то?

– Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

– Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

– Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

– Ты не ложилась, Дарья?

– Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли? Это ить я сидю-то.

– Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню.

– Куды летала – там люди есть, нет?

– Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала.

– А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

– Я-то? Я Настасья.

– Это которая с Матёры?

– Она. А ты Дарья?

– Дарья.

– Это рядом-то со мной жила?

– Ну.

– Я ить тебя, девка, признала.

– Дак я тебя поперед признала.

– Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

В два голоса ответили:

– Рехнулись.

И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание Богодула. В лад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи.

– Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.

– Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.

Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи, очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

– Че там? Где мы есть-то? Говори – че ты молчишь?

– Не видать, кур-ва! – ответил Богодул. – Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

– Это ты, Дарья?

– Однако что я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

– Я здесь, здесь.

Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой – то был прощальный голос Хозяина. Тут же его точно смыло, и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто сподизу, донесся слабый, едва угадывающийся шум мотора.